

ШКОЛЬНАЯ



БИБЛИОТЕКА

ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ

ИЗБРАННОЕ







ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ

ИЗБРАННОЕ

Юрий Яковлев

МОСКВА
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»
1992

ББК 84Р7
Я47

Для среднего школьного возраста

Художник Б. А. Мокин

Яковлев Ю. Я.

Я47 Избранное: Для средн. шк. возраста/Худож. Б. А. Мокин.—М.: Просвещение, 1992.—352 с.—(Шк. б-ка).—ISBN 5-09-003996-8.

В книгу включены рассказы писателя, которые широко известны и любимы не одним поколением детей и юношества, а также новое произведение Ю. Яковлева — мистерия «Страсти по четырем девочкам».

Я $\frac{4800000000-275}{103(03)-92}$ инф. письмо-92

ББК 84Р7

Литературно-художественное издание

Яковлев Юрий Яковлевич

ИЗБРАННОЕ

Зав. редакцией В. П. Журавлев

Редактор М. С. Вукколова

Художественный редактор Л. Ф. Малышева

Технические редакторы С. В. Китаева, О. А. Булавченкова

Корректор М. Ю. Сергеева

ИБ № 14022

Сдано в набор 10.06.91. Подписано к печати 02.01.92. Формат 60×90^{1/16}.
Бум. типограф. № 2. Гарнит. литературная. Печать высокая. Усл. печ.
л. 22+0,25 форз. Усл. кр.-отт. 22,69. Уч.-изд. л. 20+0,42 форз. Тираж 340 000.
Заказ № 1467. 33-60

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Просвещение»
Министерства печати и информации Российской Федерации.
127521, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.

Областная ордена «Знак Почета» типография им. Смирнова Смоленского
облуправления издательств, полиграфии и книжной торговли.
214000, г. Смоленск, проспект им. Ю. Гагарина, 2.

ISBN 5-09-003996-8

© Яковлев Ю. Я., составление, 1992

Нас было двое.
Потом нас стало трое.
Потом остался я один.

1

Есть друзья, которые засыхают, как листья. И, как листья, опадают. И ты остаешься одиноким и голым, как облетевшее осеннее дерево.

Но есть друзья, которые делают тебя вечнозеленым. Они — твои вечные листья. Даже когда идет снег. Это я про Гену.

Я вижу его так ясно, словно мы только что расстались: он сошел на своей станции, а мне ехать — жить! — дальше. Но он так глубоко вжился в мою судьбу, что как бы продолжает оставаться рядом со мной. Мой зеленый лист.

Я узнаю о его приближении по звуку шагов, довольно громкому, дробному звуку со сбивами. Задумался и споткнулся, оступился. Остановился — засмотрелся на пепельно-розовую птицу — сойку — и потом наверстывает. И ботинки у него всегда сбиты.

Я слышу его голос так ясно, словно он продолжает звучать во мне, не замер. Мягкий у него голос, с шершавинкой. С шершавинкой, а мягкий.

Я слышу, как Гена говорит, хотя самого его рядом нет:

— Вчера мне исполнилось семнадцать лет. Теперь меня и Майю разделяет всего пять лет. Мне семнадцать, а ей двадцать два. Когда мне будет двадцать семь, ей будет тридцать два. А тридцать семь и сорок два — почти никакой разницы! Пока же я должен изо всех сил догонять ее. Быстро стареть. Кончить институт за три года. Экстерном! У меня есть хорошая помощница — математика. Я уже решаю задачи за второй курс, а когда кончу школу — буду решать за третий. Но главное, через год я уже не буду ее учеником, буду просто знакомым. Я смогу позвонить ей по телефону и пригласить ее... хотя бы услышать ее голос, поговорить с ней не о логарифмах и радикалах.

Так рассуждал мой младший друг Гена. Такая у него была математика.

Но эта математика, без уравнений и равенства, вдруг перевернула его жизнь с ног на голову. Всю жизнь Генка любил

школу, теперь он стал ее ненавидеть. Признайся он в этом, никто бы не поверил ему. Но это было так. Я почувствовал.

Он стал ненавидеть длинные шумные коридоры, зал со шведской стенкой, саму стенку, собственную парту. Стол. Ненавидеть учителей в первый день после каникул и сами каникулы. Вчера любил, а сегодня возненавидел. Потому что школа стала на пути его любви. Как селевая лавина душист речку, так и школа. Ее древние незыблемые законы. Он — ученик, она — учительница. И между ними стена, старая, облупившаяся, но крепкая. Майя Викторовна, Майя, вовсе не похожа на учительницу, и глаза у нее как у девчонки. А у него уже растут бачки. Он, Генка, помню, провел рукой по краю щеки, возле уха и почувствовал непривычную шероховатость. Подушечками пальцев почувствовал. Был бы черноволосым, все бы видели, что у него растут бачки... Но кого волнуют глаза девчонки и взрослые бачки. Что-то в жизни неправильно устроено, рассуждает Генка, если любви можно помешать. Много лишних стен. Если бы не школа, может быть, Майя тоже любила бы его. Школа создает «классовое» неравенство, встает между ними стеной из кирпичиков, с окнами и дверьми. Но вот она, школа, кончится. Надо только пережить год... До весны дотянем, а там наши подойдут!

Такое творилось с Генкой. Но он об этом никому не говорил. Жил со своей тайной. Хранить такие тайны трудно. Как уран. Они дают радиацию. Вырываются из сердца, из глаз. И невидимые счетчики Гейгера стучат: радиация... любовь... любовь! Выше всех норм — любовь — радиация.

Мне хотелось помочь Генке. И я тоже начал заниматься математикой. Ведь цифры могут не только резать по живому, но и утешать. Как-то сам не знаю почему я сказал:

— Я стану стариком, а ты еще будешь молодым. Ты долго будешь молодым.

И оба мы в тот момент не знали, что не будет Гена ни молодым, ни старым, не будет ему двадцати семи, а ей тридцати двух. И не дотянут они до весны, а наши подойдут поздно...

2

Я был вдвое старше Гены, но мы дружили, хотя я годился ему в отцы. Молодой отец взрослого сына. Люди пожимали плечами, а мы были с ним на «ты» и держали себя на равных. Мы никогда не обсуждали, что нас связывает и в чем секрет нашего необычного товарищества. У Гены в глазах светилось непрехо-

дящее удивление, словно попал он в этот мир с другой планеты, где все, как у нас, и все немного иначе. Было в нем что-то бесконечно наивное, незащищенное, открытое всем ветрам. Я чувствовал это и старался помочь ему, незаметно прикрыть собой. Нет, я не был ангелом-хранителем, приставленным к Гене небом. Стараясь уберечь его, я одновременно защищал себя, свои надежды и свою веру в людей. Может быть, нас и сблизила общая неподвластность возрасту, не проходящая с возрастом человека незащищенность. Ахиллесова пята. Две пяты: одна — побольше, другая — поменьше.

Была у Гены любимая поговорка:

— До весны дотянем, а там наши подойдут!

Откуда она попала к семнадцатилетнему мальчику? Ее как бы занесло ветром из далеких трудных времен. От нее веяло ожиданием и надеждой. Но было в ней что-то щемящее, грустное. И теперь, когда мне бывает тяжело, я повторяю Генкины слова и как бы слышу его голос. Вот и весна разлила на дорогах свои мелкие, подсиненные небом моря, а наши все не идут. Но они придут, Генка!

Помню белое, сахаристое поле, снег, поблескивающий кристалликами, и выпуклые, освобожденные от зимнего покрова островки земли. Гена шел, жмурясь от солнца, и вдруг опустил голову, и в глаза ему острым изумрудом ударила зелень. Он присел на корточки, стал разглядывать нежные всходы озимых. Ему показалось, что это вылупился птенец: зеленые перышки слиплись, а вокруг снег, как уже ненужная скорлупа. Он наклонился еще ниже и стал дышать на травинки, отогревать дыханием. И вдруг почувствовал себя частью этого оживающего мира, равным с деревьями, облаками, землей, с этими травинками, похожими на слипшиеся перышки птенцов. Это в нем, в Генке, бушевал март — таяли снега, пробивались изумрудные травинки. Сменяя дневной припек, ударял ночной морозец, весь в ледяных кристалликах. Жар и холод. Боль и радость. А Гена чувствовал себя переполненным странной, безымянной любовью. Шел по улицам и тревожно вглядывался в лица прохожих, еще не зная ни имени, ни лица, ни голоса своей любви. Он решал уравнения с тысячами неизвестными, и было в этой задаче только одно известное — любовь.

Он спешил, не зная куда. Ждал часа, не зная которого. Испытывал жажду, не ведая, чем ее утолить. Дотянул до весны, а наши все не шли. Не шли, вернее, не шла наша... его...

На улицах садовники отрезали секаторами концы веток, придавая деревьям форму шара. Темные остовы тут же наполнялись синевой неба. И на улице появились синие шары. Скоро они станут зелеными. А пока над ними среди вытянутых хлопьев перистых облаков запоздалый краешек луны — огарок ночи.

Вот в такой день ко мне пришел Гена. Он сказал:

— Интересная история!

И сразу оживился, пришел в движение. Брови поднялись, коснувшись густой каштановой челки. Светлые глаза засветились. Уши запылали.

— Ты только послушай! Я шел по улице...

Я увидел Генку идущим по улице. Куртка на «молнии», спортивная шапка с помпоном, руки в карманах, книжка прижата локтем к боку. Я хорошо представлял себе, как это выглядело со стороны. Вдруг он заметил девушку, которая воевала с мотоциклом. Мокрая, забрызганная грязью, в яйцевидном шлеме, который жестким краем упирался в переносицу, она снова и снова давила ногой на заводную педаль — мотоцикл безмолвствовал. Тогда Генка подошел ближе и сказал:

— Может быть, вам помочь?

Он всегда кому-то помогал.

Девушка подняла голову, оценивающе посмотрела на Генку — кто такой и какой от тебя можно ждать пользы? — и сказала:

— Толкай сзади! Не боишься забрызгать брюки?

Не боялся Генка забрызгать брюки. Уперся в седло, а девушка взялась за широко расставленный руль. И они побежали. Бежали они долго, изо всех сил толкая упрямую машину. И вдруг — треск, синее облачко, резкий запах бензина. Завелся! Девушка вскочила в седло. Махнула рукой, мол, спасибо, и умчалась.

В этом месте рассказа Гена сказал:

— Конец первой серии.

А вторая серия у него начиналась так.

На другой день в класс вошел директор школы Пирогов, а с ним... мотоциклистка.

— Знакомьтесь. — Директор Пирогов обвел глазами класс. — Ваша новая учительница, Майя Викторовна.

Потом он сморщил свой мясистый нос, принюхался и спросил:

— Что это у вас в классе бензином пахнет?

Ребята зашушукались, а новая учительница говорит так спокойно:

— Это от меня пахнет бензином. Я приехала на мотоцикле.

Директор Пирогов выкатил на нее глаза, полные отчаяния и укора, но ничего не сказал. Только пробормотал: «Ну-ну» — и пошел к двери, слегка приволакивая ногу. Такая у него была походка.

Два дня учительница-мотоциклистка не признавала Гену. На третий день вызвала к доске. Пока он решал уравнение, она разглядывала его. Он чувствовал ее пристальный взгляд, и у него пылали уши. Но он решил уравнение. Неожиданно учительница Майя Викторовна сказала:

— Я тебя где-то встречала.

Гена почему-то обрадовался, что она его узнала, и заулыбался.

— Конечно, встречали. Мотоцикл помните?

Но она не стала продолжать этот разговор у доски. Краешком глаза посмотрела на уравнение и сказала:

— Все в порядке. Садись. Это хорошо, что мы встретились.

Класс обомлел от ее слов. А Гене стало приятно. Он вырвал из тетрадки листок и начал рисовать. Он всегда рисовал, если радовался или расстраивался.

Этот рисунок и висит у меня на стене: большой черный бык с рогами, похожими на руль мотоцикла, с белыми глазами навывкате, а рядом человек, худенький, прямо-таки спичечный. В красном плаще. Со шпагой.

— Почему ты нарисовал это?

— Мне захотелось стать тореадором и в честь нее победить быка.

Я не удивился. Я привык, что обычное, когда с ним соприкасался Гена, становилось необычным.

Я тогда вспомнил Мадрид. Вспомнил, как очутился на пластах торос — на арене для боя быков. Вспомнил, как под моими ногами сухо похрустывал влажный зернистый песок, и мне казалось, что я иду по берегу моря или по берегу реки. Звук шагов гулко отдавался в пустом амфитеатре. Для чего здесь такой глубокий песок? Чтобы крепче держаться на ногах? Или чтобы

кровь не алела лужой, а уходила в песок, скорее исчезала с глаз долой?

Песок был влажным и ровным, словно на арену накатила тяжелая морская волна и легко смыла следы вчерашней корриды: рытвины от копыт быка, пожухлые цветы — награда тореадору, кровь. Именно так морская волна смывает с пустынного пляжа забытые тапочки, окурки, брошенные газеты, потерянного шахматного коня... Какое море смыло следы корриды? Море забвения? Или их поглотил песок забвения? Песок не хранит следов боя. На нем следы не задерживаются. Эта земля долгие годы в шрамах, рытвинах, отметилах. Ей, земле, должно быть, долго бывает больно. А песку все трын-трава.

Тогда на пласа де торос мне показалось, что этот пустой амфитеатр и пустая арена с мирным речным песком — плод моей фантазии. Что стоит мне потряхнуть головой, широко открыть глаза — возникнет бык и ревущие зрители заполнят амфитеатр. И я слышал — воображал, как зрители улюлюкают, распалют меня. И я должен распалить быка, а бык должен страстно захотеть поднять меня на рога. И тогда все будут довольны.

А пока я купил билет за десять песо за право осмотреть пласа де торос и приобрел в сувенирном ларьке мулету, как меня уверяли, настоящую. И вышел с этой мулетой на арену. Вероятно, служители, глядя на меня, посмеивались: воображает себя тореадором. Но скорее всего они смотрели на меня с пренебрежительным равнодушием, привыкли к таким тешащим себя туристам.

Я медленно шел по глубокому влажному песку арены с грубой мулетой в руке, стараясь перевоплотиться в тореадора. Но вместо этого неожиданно представил себя быком: усталым, затравленным, с бандерильей в теле. Перед моими глазами мелькает дерюга, выкрашенная сукровицей, я бросаюсь на нее с бессмысленным отчаянием... И никак не могу убедить себя, что это тряпка, а настоящий враг иной...

Я проснулся среди ночи от сердцебиения. Меня разбудили удары собственного сердца. Я попытался выяснить, что мне снилось. Но сон как бы улетучился, растворился в реальности пробуждения. Остались одни удары сердца. И вдруг я ощутил почти физическую горечь обиды, словно раскусил черную дробинку перца. Я старался понять причину этой горечи, и тогда до моего слуха донеслись слова:

— Она не должна была этого делать!

Голос зазвучал так, словно принадлежал не человеку и даже не попугаю, а его воспроизвела какая-то новомодная машина, которую еще как следует не отладили, и слова отдают металлом.

— Она обессилела после трудного похода. Ведь на группу обрушилось стихийное бедствие. И Нина Белова поранила ногу. Надо было принести воды, промыть ей рану.

Так возразил металлическому вполне нормальный голос — мой голос, который я сейчас слышал со стороны.

И снова скрежет железа:

— Надо было думать заранее. Узнать прогноз. И маршрут надо выбирать по силам.

— Маршрут был нормальный. Но начался ливень. От стихийного бедствия никто не гарантирован.

— Вы это комиссии объясняйте, а не мне, — ответил металлический голос.

Видимо, у этой машины были запрограммированы ответы на все вопросы — такая современная машина.

И тогда мой человеческий голос сказал:

— А если бы Гена не бросился на помощь?

Я весь напрягся. Даже сердце замерло, перестало стучать. Что ответит машина? Найдет ли ответ, железная?

Нашла. Так просто, не теряя времени, нашла простой и разумный ответ:

— Он бы остался жив.

— Верно! Он бы остался жив, но... — Мой голос захлебнулся. Я по-рыбьи продолжал открывать рот, а слова не звучали. Когда же у меня вновь прорезался голос, я сказал:

— Так Александр Матросов мог бы и не закрыть грудью амбразуру.

— Вы не по существу говорите, — был ответ. — Тогда было другое время. Война.

Я все забывал, что имею дело с железом, и по инерции пытался рассуждать.

Неужели для проявления высоких чувств нужна война? А в хорошее, мирное время человек не может отдать жизнь за друга? Мне стало холодно. Я поежился.

Помню, как из последних сил я пошел в атаку. Я спросил:

— Скажите, где были вы в то время, когда погибать ради

жизни товарища не было чрезвычайным происшествием, материалом для комиссии, а называлось подвигом?

Но защелкали реле, завертелись шестеренки, и с железным звоном, как монеты из сломанного автомата, посыпались слова:

— Я нигде не был. До меня еще тогда не додумались. А на предприятии, где меня изготавливают, тогда штамповали банки для противогазов и делали «рубашки» для гранат.

В старых ленинградских домах большие прихожие. И если расставить стулья и повесить на входную дверь белую простыню, может получиться неплохой домашний кинотеатр. Гаснет свет. Уютно верещит проектор, и на экране появляется мальчик. Стриженный, ушастый, щуплый. Чем-то напоминающий нескладного лосенка. И глаза, как у лосенка, смотрят на мир с настороженным любопытством. Мальчик занимается своими делами, копается в песке, строит крепость. Но вот он повернулся и как бы посмотрел на сидящих в зале. Теперь глаза его кажутся грустными, словно он знает что-то тревожное, а сказать об этом близким не может: кино-то немое.

На маленьком экране кончается лето и зеленую траву скрывает снежная белизна. Теперь я вижу мальчика на вершине накатанной горки. Он вздохнул поглубже, прищурился и решительно оттолкнулся палками. Лыжи легко понесли его вниз. И вдруг — белый протуберанец, маленький лыжник надломился и полетел с горки, волоча за собой снежное облачко. Встал. «Елочкой» взбирается вверх: маленькая фигурка, большие лыжи. И снова спуск, снова протуберанец, падение. И снова. И снова. Это Генкин характер. Терпеливый, настойчивый. И безмолвный, как немое кино.

В общем-то, ничего особенного, обыкновенный любительский фильм. Но это фильм про него, и поэтому самые обычные вещи обретают новый смысл и увеличиваются в своем значении, становятся частью дороги. Я знаю, куда ведет эта дорога. И мне становится немного страшно.

— Вчера мне исполнилось семнадцать лет... Меня и Майю разделяет всего пять лет.

Почему эти слова прозвучали в памяти в темной ленинградской прихожей, превращенной в домашний кинотеатр? Ведь тот маленький Гена, который возникает на экране, еще не успел произнести эти слова. Даже не догадывался, что когда-нибудь произнесет их. Это будет на более дальних километрах его дороги.

Я надеваю черную шляпу с невысокой тульей, поправляю жабо и беру в руки мулету. Она из грубой ткани, тяжелой, похожей на мешковину. Ткань не пунцовая, как ее изображают на картинках, а скорее грязно-розовая, словно на ней запеклась сукровица.

Мулета, как хоругвь, для удобства прикреплена к короткому древку. От нее веет не радостным представлением, а тяжелой работой. Тяжелой, опасной и не очень-то благородной.

Я беру мулету не с края, а ближе к середине и для пробы делаю рукой резкое движение сверху вниз, словно взбалтываю перед употреблением, и наблюдаю, как по жесткому полотнищу проходит легкая зыбь. Рука еще не устала и пальцы не натерты, не горят. Это трудное искусство — пустить по мулете зыбь и вовремя придать ей мертвенную неподвижность. Когда мулета неподвижна, бык тоже замирает, стоит как загипнотизированный, словно уставая в кирпичную стену. Но стоит качнуть рукой, как он яростно устремляется вперед. Кончики рогов чиркнут по материи. Крутой бок грубо ткнется в мою спину, и я почувствую частый жар его дыхания и деревенский запах хлева. Запах быка успокаивает меня — это запах жизни, а вокруг бродит смерть. И неизвестно, кого она выберет: меня или быка.

Я опускаю руку с мулетой, чтобы рука не затекла, и некоторое время наблюдаю за быком.

Три дня его, бедолагу, специально держали в темном хлеву. А сейчас вытолкнули на свет, на солнце, и бык как ошалелый носится по арене.

По песку, где нет ни травинки, уже промчались на конях пикадоры — нанесли быку первые обиды. Уже в его боках, как ошипанные перья, болтаются бандерильи. Говорят, что для быка это как укус комара. Но кто может сказать, что испытывает животное, у которого в боках сидят две короткие, остро зазубренные пики с цветными ленточками?

Сейчас мое время. Я все оттягиваю, оттягиваю выход на арену. Я бесстрашен только в глазах публики. Но мне страшно. Самое страшное — в первый раз приблизиться к быку. Потом будет легче. На какое-то время я как бы отключаюсь, сосредоточиваюсь. Не слышу гула трибун. Не вижу людей, жадно глядящих на арену. Их лица смазываются, их одежды сливаются в каком-то неподвижном вихре в одноцветную массу. Словно

весь амфитеатр накрыли гигантской мулетой... цвета сукровицы. Сердце стучит. Во рту сухо. Клянусь небом, что это будет моя последняя коррида! И делаю первый шаг. Я слышу хруст песка, и мне кажется, что меня, как того быка, держали три дня в темноте и вот сейчас невидимым пинком вытолкнут на арену. Мелета — мой надежный щит — волочится по песку. Бык устоял на меня, словно мой проход по арене для него тоже зрелище. Он еще не уверен, что я буду иметь к нему какое-то отношение. Еще не питает ко мне ненависти. Он ничего не имеет против красного цвета. Красный цвет больше возбуждает зрителей, чем быка. Бык только не переносит, когда перед его носом мелета начинает вздрагивать. Это дразнит быка. Выводит его из себя. Дразнящее вздрагивание и называется корридой. Именно вздрагивание мелеты — и ничто больше. Быку глубоко наплевать, какая тряпка болтается у него перед носом — красная, желтая или зеленая.

Я приближаюсь к быку, и рука, сжимающая мелету, нализуется свинцом. Клянусь небом!..

Я вдруг чувствую всю бессмысленность того, чем занимаюсь. Вспоминаю зеленую травку Кастилии, где мирно паслись славные черные бычки. Паслись и не знали свою судьбу: не было у них, у бычков, своего гороскопа, чтобы точно узнать, что ждет их впереди.

В следующее мгновение бык очутился рядом. Он устоял на меня и сказал — во сне и быки разговаривают:

— Это во время войны называлось подвигом, а теперь это ЧП — чрезвычайное происшествие. А стало быть, лишение квартальной премии и прочие неприятности.

Эти слова вонзились мне в бок, как зазубренный наконечник бандерильи. Тогда я бросил мелету на влажный песок арены и обнажил шпагу.

У меня над столом висит рисунок: овальная арена — желтая краска, бык с непомерно большими лирообразными рогами — черная краска, торeadор — шляпа, плащ, панталоны, чулки, туфли — разноцветные. Огромный бык и маленький человечек. Идея рисунка такая: чем больше бык и чем меньше человечек, тем дороже победа.

Этот рисунок — память о Генке. Никаким он не был художником и рисовал плохо — математик! — но тут он постарался. Он не рисовал, а выражал чувство, смутное. В тот миг еще не-

осознанное чувство. Еще безымянное. Бессловесное. Его рисунок напоминает наскальные рисунки, которые я видел под Баку в Кабыстане. Меня, помню, поразила оглушающая немота этих рисунков. Она вдруг проявилась в моем сознании, ожила болью вперемежку с радостью. И мне показалось, что рисунки вдруг закричали, заревели, загрохотали копытами, засмеялись от радости и завывали от боли.

Так временами оживает и Генкин рисунок. Бык наклоняет рога, торeadор выставляет вперед шпагу. Желтая арена светит как солнце.

Но на рисунке не хватает прекрасной дамы, в честь которой бесстрашный торero вышел на арену. Если внимательно присмотреться к маленькому человечку, можно заметить, что на его рукаве повязан платок в белый горошек. Это платок прекрасной дамы, которая не изображена на рисунке. Это Майин платок.

Наивный рисунок корриды — памятник любви. Если б можно было повторить его на белом снегу Эльбруса, увеличив в сотни раз, чтобы люди рассматривали, как рассматривают рисунки на скалах Кабыстана.

Генкина любовь тоже была в сотни раз больше обыкновенной.

5

— Послушай, — сказал мне как-то Генка. — Я должен тебя познакомить с Майей.

Между собой мы уже называли учительницу по имени, отбросив отчество.

— Зачем? — спросил я.

— Так надо, — был ответ.

Потом мы стояли перед школой и ждали, когда она выйдет. В небе светило неровное, яростное солнце — настоящее ярло с видимыми глазу протуберанцами... Свет так ослепляюще бил в глаза, что, казалось, издавал звук — солнце-ярло звенело. Все таяло под ногами и над головой, казалось, не снег, а сам город таял. И когда растает — будет пустое место — поле. И в этом поле — мы с Генкой.

Она пришла раньше, чем растаял город.

— Здравствуйте, Майя Викторовна, это мой друг, — сказал Гена.

Она даже не взглянула на меня. Ее больше интересовал Генка.

— Ты всех учителей знакомишь со своими друзьями?— спросила Майя.

Я думал, Генка растеряется. Но он нашелся.

— Нет,— сказал он,— только тех, кто гоняет на мотоциклах. Это прозвучало не шуткой, а вполне серьезно.

Она все еще смотрела на Гену, но я чувствовал, что как-то подспудно, краем глаза, она начала рассматривать меня. Заинтересовал я ее.

— Старый у тебя друг!— вдруг сказала она.

— Это он с виду старый,— нашелся Гена.— А так ничего. Годится.

Он виновато посмотрел на меня: прости меня за панибратство.

Я все стоял и молчал. Мне было любопытно, как будут развиваться события. Но мои глаза уже были прикованы к Майе. Она еще не стала красивой, но в ней появилась необъяснимая притягательная сила, что-то угадывалось, смутно предполагалось, как сквозь туман. Пока еще не произошло. И было неясно, что произойдет. Однако я почувствовал — надо держаться поближе к ней.

— Я привел своего друга на случай, если мотоцикл опять не будет заводиться,— запоздало пояснил Гена.— Втроем легче заводить, чем вдвоем.

— Я сегодня приехала на троллейбусе,— сказала Майя.— Я не ожидала, что у меня будет столько помощников. А вообще, что-то не ладится с зажиганием.

— Тогда мой друг расскажет вам, как он был тореадором,— не сдавался Гена.

Майя насмешливо посмотрела на меня и спросила:

— Он был тореадором?

Она все еще говорила со мной в третьем лице.

— Он был!— сказал Генка, обуреваемый каким-то озорством.

Я не узнавал его. Я удивлялся и радовался. Наконец-то мой тихоня раскачался. И чтобы поддержать его игру, я ответил о себе в третьем лице.

— Был ли он тореадором или ему это приснилось, не имеет значения. Потому что речь пойдет не о нем, а о знаменитом тореадоре Луисе Домингисе. И о его любви, если позволите?

Она позволила. Я начал рассказывать:

— Луис Домингис был звездой плас де торос, любимцем публики и грозой быков. И однажды знаменитый тореро встретил Люцию Бозе. Помните, фильм: «Рим, 11 часов»? Тореадор полюбил актрису, она ответила ему взаимностью. И они решили пожениться, но прежде актриса потребовала от своего жениха клятву: навсегда покинуть арену. «Я хочу быть твоей женой, а не вдовой». Луис долго думал, взвешивал: на его весах любовь оказалась тяжелее. Он согласился, но поставил свое условие: Люция должна навсегда расстаться с кино. Интересно?

— Интересно,— сказала Майя.— Слушать интересно. А вообще это чушь!

— Чушь!— согласился я.— Но Луис и Люция поняли это только спустя восемнадцать лет.

— Долго же!

— Долго,— согласился я.— Поняли и...

— Нарушили клятву,— подсказал мне Гена.

Я покачал головой.

— Клятву они не нарушили. Вернее, эту клятву. Они нарушили другую клятву: всю жизнь быть вместе. Они расстались, и каждый вернулся к своему делу. Но дело уже не ладилось. Звезды не загорались.

— Странная история,— после некоторого раздумья сказала Майя.— Получается, что любовь разбила две жизни, свела их на нет. А из разбитых жизней не получилось любви.

— Это глупая история,— сказал Гена.— Надо было каждому заниматься своим любимым делом. Разве это может мешать любви?

— Люция боялась, что ее любимого поднимет на рога бык,— сказал я в защиту Луиса.

— А чего же он боялся?— спросил Гена.

Я не нашелся что ответить Гене. У него было свое понимание жизни. Немного инопланетное.

— Я люблю математику,— вдруг сказала Майя,— но математика бессильна перед любовью, совершенно другое исчисление... Эти тореадор и актриса подошли к своей любви чисто математически. Элементарное равенство. Все просто, как в первом классе.

Она тихо засмеялась.

Генка посмотрел на нее почти с испугом.

Между осенними лужами и весенними — большая разница. Те, осенние, тусклые, мутные, навевающие тоску. Весенние лужи похожи на озера и даже на моря: они синие, и от них, свежих, пахнет зеленым огурцом, хотя до огурцов еще далеко. Эти лужи рожают надежды, веселят сердца, и если остановиться и посмотреть в весеннюю лужу, увидишь свое детство.

Генкина мама любила петь песенку про перепелочку, у которой болит ножка. От радости такие песни не поют, но и горя у мамы не было, когда она пела. Она садилась на стул и смотрела в окно и, глядя на крыши — красные, зеленые, серебристые, — пела. Крыш вокруг было много, с трубами, антеннами, со слуховыми окнами. Гене почему-то начинало казаться, что мама живет на свете очень давно и жила в те времена, когда все вокруг пели песню про перепелочку, как сегодня поют «Пусть всегда будет мама». Мама была всегда, а папа появился позже, рассуждал маленький Гена, когда старую песню уже все позабыли, а может быть, никогда и не знали.

Гена слушал маму из соседней комнаты, потому что мама пела, когда была одна, а если кто-нибудь появлялся, она умолкала. Мама пела тихо, и Генка не мог расслышать всех слов, а начало песни знал хорошо.

У перепелочки болит ножка.

Гена никогда не видел перепелочки и представлял ее себе большой и длинноногой, как цапля. И одна нога была забинтована. И когда перепелочка-цапля вышагивала, то припадала на больную ногу. И Гена рассуждал так: зачем ей ходить, раз есть крылья, а стоять можно на одной ноге. Но потом он узнал, что перепелка ходячая птица, может отшагать много сотен километров. И Гене стало жалко хромую перепелочку.

Он мечтал стать вагоновожатым, ему очень нравилось, что человек одним движением руки приводит в движение целый трамвай. Он видел это своими глазами. А как действуют космонавты, он никогда не видел и поэтому не мечтал. Так он был устроен в детстве.

Весенние лужи — моря нашего детства.

У каждого человека своя главная задача, заложенная природой. И оттого, как человек решает эту задачу и как в конеч-

ном счете решит, зависит весь окрас его жизни. Случается, что человек проживет жизнь, так и не решив своей главной задачи. Или, отчаявшись, бросит решение на полдороге и уже живет по принципу «куда кривая вывезет». А кривая редко вывозит куда следует.

Зато случается, что человек отдает жизнь за решение своей главной задачи. Все живут по-разному.

Однажды Генка — он был тогда еще маленьким — решил уйти из дому. Сел в троллейбус, взял билет и поехал. Люди ехали на работу, к врачам, к знакомым, на базар. А он ехал в полную неизвестность, навсегда. Люди равнодушно смотрели на проплывающие за окнами дома, перекрестки, скверы. Гена был уверен, что видит их в последний раз. Ему хотелось плакать, но он держался, морщил нос, но не плакал.

Он вышел на конечной остановке. Дальше троллейбус не шел. Было морозно. Мела поземка. Маленький Гена осмотрелся и увидел белое поле, а вдалеке лес. Туда следовало идти навсегда уходящему из дому. «Ну, иди же!» — сам себе шептал Гена и... не шел. Он вдруг почувствовал себя маленьким и беспомощным в этом огромном белом пространстве.

Минут десять он протоптался на месте, решая, что делать. Сесть в троллейбус, идущий обратно, он не мог. Он напряг все свои силки и пошел. Он шел туда, куда вели его висающие над головой провода. Он как бы шел по шпалам и по рельсам, которые оторвались от земли и повисли над головой. Он шел и шел. Провода вели его к дому, но маленькому Гене казалось, что он не возвращается, а продолжает свой далекий безвестный путь.

Он очень удивился, когда под вечер очутился у своего дома. Усталый, оочевевший, еле живой. Лицо онемело от ветра, ресницы слипались от влажного мороза. Очутившись у своего дома, Гена не испытал ни радости, ни облегчения. Он механически толкнул дверь плечом и стал медленно, из последних сил, подниматься по лестнице. Он всходил на свой Эверест, штурмовал свою недоступную вершину. «Только бы устоять на ногах. Только бы не упасть!» — думал он и шел. Ему казалось, что ушел он из дому много лет назад мальчиком, а возвращался усталым стариком.

Позвонил. Дверь отворилась. Запахло куриным бульоном.

— Где ты был? Что случилось?

Он едва слышал голос мамы, словно она разговаривала с ним через стенку.

Он поднял на маму усталые, изумленные глаза и промолчал.
— Я так волновалась!

Мама принялась расстегивать пуговицы, стаскивать с него пальто, шапку. Она привела его в комнату, а он все молчал.

— У тебя ноги как ледышки,— сказала мама, в ладонях согревая его окоченевшие ступни.

Он слышал мамин голос, но не вникал в смысл ее слов. Ему хотелось закрыть глаза и уснуть, но что-то мешало это сделать. Он напрягался, чтобы осознать это «что-то».

И вдруг, собравшись с силами, сказал:

— Мама, я не ломал твою машинку.

Мама удивленно посмотрела на него — какие мелочи! — Она уже простила ему машинку.

— Я отнесла ее в мастерскую,— сказала она.

— Я не ломал твою машинку,— повторил Гена.

И вдруг мама — на это способна только мама! — почувствовала, какое тяжкое испытание прошел этот маленький, бесконечно родной человек, чтобы доказать свою правоту, свою правду. И ей, матери, стало мучительно стыдно за то незаслуженное страдание, которое она причинила сыну.

Гена рано начал страдать. Не от несчастной жизни, а оттого, что видел то, чего другие не замечали, и чувствовал то, что другие, его сверстники, еще не научились чувствовать, не созрели для этого. Он чувствовал чужую боль.

Он появился в моей жизни, когда мне было тяжело. Я не жаловался ему на свою жизнь. Он сам почувствовал, что мне тяжело.

Я тогда думал: если бы можно было оставить свое больное тело в постели, а самому потихоньку подняться и выйти за дверь. Так стоять на морозце, прислонясь к стене, и вдыхать в себя сладковатый, подснежный дух весенней земли, которая уже оживает, уже дышит. А больное тело пусть бы себе лежало в постели. Лежало и поправлялось, доходило бы как тесто...

Помню, мы ждали приезда тети. И вдруг телеграмма: «Приехать не смогу. Алик тяжело заболел». А тесто, толстое и губастое, попевало, переваливало через край кастрюли. Тесто не знало, что все отменяется, — оно поднималось на дрожжах.

Помню, у Гены начали расти баки. Почти невидимые глазу, они появились на свет, возвещая о приближении взрослости. Взрослость приближалась медленно, но верно. Верно, но мед-

ленно! Медленно. А Гене, оказывается, она нужна была теперь. Тотчас! Я понял это, когда мы стояли у окна и наблюдали за первым апрельским дождем. По мутным стеклам текли кривые бороздки. После долгого зимнего молчания водосточные трубы прочищали горло, пробовали голос, гремели. А на тротуар время от времени обрушивалась массивная сосулька и разбивалась вдребезги, словно сорванная с потолка хрустальная люстра.

7

Не знаю, как это произошло, но с поразительной точностью помню, что со мной это случилось у Пяти Углов. Я посмотрел на Майю и вдруг почувствовал, как пенная, хмельная волна обрушилась на меня, подхватила, подняла и снова опустила. Я закрыл глаза, и вся эта громадная жаркая волна уже находится во мне, уместилась каким-то образом и бушует, подбрасывая мое сердце, как поплавок.

Я посмотрел на Майю и вдруг понял, что это уже не та Майя Викторовна, а совсем другая, новая, неотделимая от меня. Я засмеялся беззвучным, радостным смехом, которым дети выражают радость — взрослые выражают радость совсем по-иному, — засмеялся где-то внутри, где волна подбрасывала сердце, а снаружи ни один мускул не дрогнул на моем лице.

Она, Майя, еще Майя Викторовна, ничего не заметила, что со мной произошло. Она шла на полшага впереди нас, потому что идти рядом мы не могли. Тротуар Загородного проспекта слишком узок для такой компании. Но если бы даже она шла рядом, то вряд ли обратила внимание на то, как я побледнел или покраснел, сам не знаю, какого цвета я стал от своей нежданной радости.

Только Генка заметил. И когда мы остались одни, он спросил меня:

— Ты любишь ее?

Я промолчал, я еще не разобрался в своих катаклизмах.

— Любишь,— ответил за меня Генка.— Как же нам быть?

И тогда я понял, что он любит ее.

Я молчал. Мог бы, конечно, сказать: «Нет у меня любви, тебе показалось». Должен был соврать, отвести мальчика от беды, от опасности. Но я молчал, хотя в самом молчании было что-то не очень-то честное.

— Как же нам быть? — спросил Генка, движимый великим непониманием. И сам ответил: — Мы будем любить ее вместе!

И тут я пришел в себя. Я схватил Генку за плечи и начал его трясти.

— Слушай, друг и товарищ, что мы с тобой, рехнулись? Какая еще любовь? Никакой любви! Нас было двое. Нас стало трое. Вот и все дела. Слышишь?

Но он не слышал моего голоса, моих увещаний. Он слышал что-то совсем другое, свое, незблемое и веселое. Веселое и печальное. Черное от печали. И зеленое от радости. В нем бушевала горячая волна, как поплавок подбрасывая сердце.

Все смешалось в доме Облонских... Земля и небо поменялись местами. День смешался с ночью, благо наступали белые ночи.

И невозможно было определить, где Генка, где я.

Мы любили Майю без соперничества, без надежды на победу одного над другим, не думая, что будет дальше. Любовь двух мужчин к одной женщине не успела повернуться к нам своей черной стороной, не произвела разрушительного действия на нашу дружбу.

Может быть, потому что я считал Генку мальчиком, как бы сыном, а он меня стариком, как бы отцом, никто из нас не признавал другого за соперника. И мы продолжали дружить как дружили.

А может быть, мы жили по законам той планеты, с которой пришел ко мне Гена, планеты, где уже нет ни корысти, ни подлости и где радость другого стоит собственной радости.

Но где-то в глубине души я понимал, что настанет час... Я боялся этого часа и всячески оттягивал его наступление. А Гена и не догадывался о нем, об этом часе.

Он тогда мечтал о походе на Кавказ. И в его разговоре все чаще звучали новые названия. Как новые ноты. Нальчик, Голубые озера, турбаза Чегем, Южный приют, Северный приют...

Он знал, что группу поведет Майя. Она будет рядом и при солнце и при звездах. Горы далеко отодвинут школу, хоть на время их уравниют. Он ждал этого равенства. Этого счастливого равенства.

Ну а я был не в счет! Он ждал от меня только хорошего!

Он все время рисовал на клочках бумаги корриду. Страшных быков и маленьких тореро.

Он бы дорого отдал, чтобы на глазах Майи выйти на арену и вонзить шпагу в холку самого свирепого быка.

А я смотрел на Гену, на его рисунки и вспоминал Кастилью. Черных бычков и осеннее, вполсилы, солнце.

Это только вблизи трава зеленая, а издали она серо-синяя от тумана и от росы. Издали бычки не шагают, а как бы плывут над этой травой, медленно и бесшумно. И не поймешь, щиплют ли они траву или пьют росу, собирают ее нежными бледно-розовыми ртами. А глаза у них навывкате — от какого-то прекрасного детского удивления.

И от этих бычков, плывущих — шагающих на своих негнущихся ножках с узлами на коленях, и от их глаз навывкате, полных прекрасного детского удивления, и от бледно-розовых ртов, которыми они не то щиплют травку, не то по зернышку собирают росу, и от коротких рожек — на память приходят детские стихи:

Идет бычок, качается,
Вздыхает на ходу.
Ой, доска кончается,
Сейчас я упаду!

Эти кастильские бычки еще не знают, что бывает, когда «доска кончается». Не задумываются. Не доходят до этого своей бычьей фантазией. Наверное, они вообще не думают о «конце доски», а мечтают о юных подругах, ибо эту мечту вложила в них сама природа.

Но я-то знал, что эти бычки выращиваются специально для корриды.

...Роса — кровь испанской земли, страдающей белокровием. А у бычков с кровью все в порядке, гемоглобин в норме, никакого белокровия — алая кровь. Вы в этом можете убедиться, если побываете в пласа де торос, на корриде.

8

В ожидании похода Гена с товарищами укатил на велосипедах куда-то далеко в сторону Карелии.

Но каждое утро он звонил в Ленинград. Справлялся, что слышно о походе. О походе ничего не было слышно. То директор колебался, то не хватало денег.

А Гена все звонил. И однажды ему ответила Майя Викторовна. Она дежурила в этот день по школе и сняла трубку.

— Гена? Где ты? Гена?

— Далеко и близко, — ответил он.

— Молодец! Хвалю за точность! Что поделываешь?

— Жду,— что-то прорвалось в нем, он заволновался.— Только и делаю, что жду. Может быть, я жду напрасно?

Его голос звучал издалека, и эта даль придавала его словам новое звучание. Даже смысл слов менялся. И Майя поняла это, расслышала, уловила полутона. И вдруг вспомнила странный разговор, который произошел у них с Геной как-то случайно, на улице.

Гена спросил:

— Майя Викторовна, вы верите в любовь?

— Верю,— ответила она.

— В мою любовь верите?

— Верю в твою любовь.

— Как хорошо, что вы верите в мою любовь!— обрадовался Гена, негромко обрадовался.— По-моему, самое страшное, когда не верят... в любовь... Тогда и жить не надо, правда?

Она посмотрела ему в глаза. Так внимательно посмотрела и ответила:

— Правда.

Она не сразу ответила «правда». Помедлила. Может быть, и не поняла, что это было признанием в любви к ней.

Но тогда в ее отношении к Гене произошел какой-то сдвиг. Гена предстал перед ней в другом свете. Старая щербатая стена— великая школьная стена— дала трещину.

Никто этого не заметил. И в первую очередь этого не заметил сам Гена.

— Гена!— сказала Майя Викторовна по телефону.— С походом все в порядке. Возвращайся.

— Ура!— крикнул Гена в трубку, и все, кто был на почте, переглянулись.— Сейчас же двинусь в путь. Ждите!

Он требовал, чтобы она ждала. И она ответила:

— Хорошо! Буду ждать.

Она отвечала, и каждое ее слово— обычные слова «буду», «хорошо», «ждать»— звучало для Гены музыкой, расцветивалось удивительными красками и увеличивалось в своем значении. И это уже были не простые слова, а слова-гиганты, слова-созвездия, составленные не из букв, а из звезд.

В то же утро Гена выкатил велосипед.

Велосипед— орудие свободы и независимости. Стоит только пожелать, и он помчит тебя куда угодно и когда угодно. Для велосипедиста не существует расписаний, ему не нужны рельсы, горючее, не нужны над головой провода.

— Ребята, я поехал,— сказал Гена.— Послезавтра выезд на Кавказ. Так что я поехал, ребята!

И ребята сказали:

— Валяй! Мы тебя понимаем.

Они стояли в одних трусах, по щиколотку в песке, перемешанном с длинными сосновыми иглами, а он растирал на лбу челку и смотрел на них виновато. Будь его воля, забрал бы всех с собой.

— Пошел!

Это было его последнее слово. Он оттолкнулся, как от берега, занес ногу и очутился в седле.

Он ехал час, ехал два, три... И с каждым часом ему было все труднее. Он дурел от усталости. Его вместе с машиной качало из стороны в сторону. Пекло солнце. Выжигало лоб, щеки, глаза. В глазах вспыхивали и гасли огненные диски. Ноги, усталые, гудящие ноги, как бы стали частью велосипеда и качали, качали... Вверх, вниз. Вместе с Генкой велосипед превратился в вечный двигатель.

Генка сгорбился. Глаза потухли. Велосипед медленно полз по дороге. Гена засыпал. И вдруг глаза юноши закрылись— тяжелые веки опустились и уже не поднялись. Он спал. А ноги работали, и велосипед продолжал двигаться. Спящий велосипедист— он мог врезаться во встречную машину, мог слететь с высокого откоса и разбиться о гладкие неподъемные валуны. Но он держался. Двигался как лунатик по кромке крыши.

И вдруг шоссе свернуло вправо, а спящий велосипедист продолжал двигаться вперед. Только вперед! Он съехал с асфальта и зарылся в песок, перемешанный с сосновыми иголками.

Над ним стояло четкое, как чертеж, звездное небо. Звезды пульсировали: то усиливали накал, то ослабевали. И Генке казалось, что он вообще оторвался от земли и катит на своей безотказной машине по небу, между звезд. И все работает, работает ногами. Он просыпался от падения и снова засыпал. Ему казалось, что он не спит, а едет. И во сне он то подтягивал колени, то выпрямлял ноги. Вечный двигатель уже не работал, а конвульсировал, затихал, заканчивал свою вечность.

На рассвете Генка снова сел в седло.

Гена стоял перед Майей серый от пыли, с воспаленными глазами и сухим пылающим ртом. Его глаза устало смотрели откуда-то из глубины.

— Гена? Откуда ты такой?— спросила Майя.
— Какой такой? Из Ладейного Поля.
— Где ты спал этой ночью?
— Я не спал. Я пилил на велосипеде. Один раз уснул за рулем. Всадник без головы!

Он еще пытался шутить.

— Я боялся опоздать... А денег у меня не было... Потом я упал в кювет. И велосипед сломался. А мне ничего— я упал в песок. Поспал немного. Потом уже рассвело, и я понес велосипед на плече—«Старый осел молодого несет». Потом меня подобрал трейлер, который вез в Ленинград бульдозер.

Она взяла его за руку. Ввела в комнату. Усадила на диван. Села рядом.

— Зачем ты все это сделал?

— Боялся опоздать. Спешил к вам.

— Ко мне?

И тут нечеловеческая усталость сморила Гену. Он как-то стал клониться набок. Прижался к спинке дивана. Глаза закрылись, губы едва заметно вздрагивали, словно силились что-то выговорить, но не могли, только вздрагивали. Он продолжал свой отчаянный пробег, и над ним шумели сосны, а по обочине дороги, наполовину закрытые песком, белели лобастые валуны— детища ледникового периода.

— Спящий велосипедист,— прошептала Майя и коснулась ладонью его горящего лба.

Майя впервые так близко увидела Гену. Вблизи он показался ей несколько угловатым, грубым. Черты лица оказались крупнее, а губы, обожженные солнцем и горячим дыханием, были лишены юношеской нежности. И вместе с тем во всем его облике было что-то родное, родственное. И Майя сидела рядом, не отрывая глаз от спящего юноши. Она испытывала к нему странное, необъяснимое влечение и все силилась разобраться, что же это за влечение? То ли тяга к брату, которого у нее никогда не было, то ли к сыну, о котором мечтала. А может быть, совсем иное человеческое чувство нахлынуло к Майе от близости спящего велосипедиста.

И она тайно, как девчонка, стала ближе наклоняться к нему. Слепящая сила притягивала ее к юноше. У нее перехватило дыхание.

И какое-то время он, спящий, дышал за них за двоих, за себя и за Майю.

И вдруг она губами коснулась его губ. И он перестал дышать. Он открыл глаза. Он увидел ее. Так близко, как никогда еще не видел. Но у него не хватило сил потянуться к ней, подняться, захлебнуться от нечаянной радости. Ему показалось, что он ранен, а она сестра милосердия. И приближается она затем, чтобы губами, как мама в детстве, коснуться лба и определить, есть ли жар.

Он почувствовал радостное успокоение. И закрыл глаза.

И снова помчался по Вселенной на своем бешеном велосипеде, разбрасывая попадающие под колеса звезды, и кричал: на весь мир, на всю Галактику, на все существующие галактики!

— Я люблю, люблю, люблю!

Любовь накапливалась в нем, как в туче накапливается заряд грозы. Она заполняла его и уже лилась через край. И он, задыхаясь от своей не по росту огромной любви, смеялся, и звезды проносились над его ухом, посвистывая, как посвистывают пули, только нежно и весело. Сердце его билось и прыгало, как поплавок на сильной волне. Взлетало на гребень и ухало в пропасть...

Взлетел на велосипеде в небо, полюбил учительницу спящий велосипедист.

9

Как-то, еще до прихода лета, директор Пирогов пригласил к себе Генину маму.

— Здравствуйте. Садитесь. Как бы вам лучше сказать...— Он не знал, как лучше сказать, и сказал первое, что пришло в голову:

— Вы не замечали, что от Гены пахнет бензином?

— Не-ет,— мама удивленно подняла глаза.

Он встал, сжал ладонями крест-накрест локти и сказал:

— У нас новая учительница математики. Гена вам рассказывал?

— Он о ней хорошо отзывался,— был ответ.— А при чем здесь бензин?

— Хорошо отзывался.— Директор сглотнул слюну.— Он с ней на мотоцикле катается. Я намерен шел по улице... Мчат!

— Вы боитесь, что они могут разбиться?— спросила мама.

Директор посмотрел на нее как на дурочку.

— Да, боюсь. Она совсем молоденькая. Прямо из вуза. Как вы не понимаете?

— Понимаю,— торопливо сказала мама,— я поговорю с Геной. Предупрежу его.

Директор молчал.

— Я могу идти?— спросила мама.

— Да, да... конечно...

И когда Генина мама уже подходила к двери, он сказал, почти крикнул:

— Ничего вы не поняли!

Мама остановилась.

— Чего я... не поняла?

— Поговорим в другой раз. Я спешу на экзамен. Простите.

И он пробежал мимо нее, а она, мама, так и осталась стоять в дверях.

Потом, когда все произошло, я говорил ему, директору Пирогову:

— Любовь? Что вас так пугает слово «любовь»? Ведь любовь не смерть. Она несет в себе жизнь. Продолжение жизни. Вы говорите — недозволенная любовь? Кто и в каких законах разделил любовь на дозволенную и недозволенную? Если бы Гена не учился в школе, а работал бы крановщиком на стройке, все было бы в порядке с любовью. Так, да? Разница в годах. Но разве возраст человека определяет паспорт? Любовь уравнила их. Ведь оба они полюбили. Как тут быть? Ведь нет такой силы, которая могла бы запретить человеку любить. Сила может разлучить. А любовь остается. И есть же в любви чистота, белая как снег?

— Чистота!— Он не выдержал, директор, его прорвало, он заговорил:— Вот они ходят в белых фартучках. Чистых, как снег. А у них порой рождаются дети. Слышали о таком?

— Дети рано или поздно всегда рождаются.

— Рано! Слишком рано. Дети рождаются, и любовь умирает. Потому что ей, любви, это не под силу. Зеленая эта любовь. Незрелая. Непригодная для практической жизни. А дети рождаются даже от такой любви... Выйдите в коридор, посмотрите: они ходят там, созревшие, ждущие своего часа, начиненные опасным нетерпением. Достаточно искры, и они вспыхнут. Зови потом пожарную команду!

Такая вот присказка.

В старый дом на Молчановке я привез письмо из Ленинграда. Позвонил в дверь. Представился фельдъегерем. Протянул конверт без марки. Письмо у меня взяли, но по московскому обычаю без чая не отпустили.

Я очутился в квартире, где люди жили с довоенных времен, но в ней царил устойчивый беспорядок, словно хозяева только что переехали сюда или, напротив, готовились к переезду. Есть такие дома с кочующими вещами, где постоянно пропадают очки, исчезают шляпы, прячутся ботинки. И происходит это оттого, что в доме вещам уделяют мало внимания, а больше думают о людях.

Меня усадили за стол — круглый, на одной массивной ножке, с львиными лапами, подливали чай, как бы заваренный на янтаре, расспрашивали.

И вдруг я поднял глаза и на мгновение окаменел: в обыкновенной, мило-неряшливой квартире на стене висела знаменитая серовская картина «Похищение Европы», и не копия, а написанная самим Серовым. С его подписью. Единственная.

Я забыл про чай и стал рассматривать хорошо знакомую картину. Вероятно, потому, что картина висела не в музее, а среди обычных человеческих вещей, она предстала передо мной в совершенно новом свете. Мне показалось, что я ее вижу впервые. Она была настолько сегодняшней, словно художник закончил ее утром и еще не высохли краски. Хитрый бог прикинулся быком и увел-таки у греческого царя его прекрасную дочь Европу.

Я встал. Подошел к картине и вдруг увидел на полотне Майю. Она сидела поджав ноги на могучей спине плывущего быка и пальцами босых ног упиралась в его шкуру. Я сразу узнал ее. Узнал ее любимую позу, глядящие из глубины глаза, овал лица, легкие руки. Великий Серов так точно изобразил ее, словно она позировала ему из будущего. Даже привычку сидеть на коленях знал, раз нарисовал.

Бык плыл по морю довольный, умиротворенный, поднимая грудью пенистый гребень. Веселое хмельное море делилось на белые и синие струи. Спутники-дельфины вырывались из воды и описывали в воздухе дугу. И всем на этой картине было весело: и Майе, и быку, и дельфинам, и морю.

Я не отрывал глаз от картины, и мне показалось, что без-

злобный могучий бык — это я. Я обернулся быком, чтобы похитить свою Европу. Я плыву по морю и чувствую на спине тепло колен, и ноги упираются мне в ребра, и рука у меня на шее. И я, тяжелый, наслаждаюсь ее легкостью. И мы рождены друг для друга, ни для кого больше.

Картина ожила. Струи задвигались. От красок запахло водорослями и талым снегом. Бык замычал от счастья. Я почувствовал на губах горьковатый вкус морской воды.

Но беда заключалась в том, что для меня картина — остановленное мгновение — не кончилась. Я знал, что будет дальше. Она была как бы за кадром из фильма, из самого тяжелого фильма в моей жизни, и я знал, каким будет следующий кадр. В этом кадре небо потемнеет. Раздастся треск, и пронзительно-белый мочковатый корень молнии повиснет над водой. И сразу черной стеной вздыбится тяжелая волна. И бык, безмолвный бык, не сможет крикнуть:

— Берегись! Держись крепче за рога! Прижмись к моей шкуре!

Майя исчезнет в пучине, а бык закачается на волнах беспомощно и бессмысленно, как пустая бочка. И это будет уже жизнь — никакой мифологии!

— Что с вами? — спросила меня хозяйка. — Вам нехорошо?

Мы оба смотрели на картину. Она видела праздник любви, я видел совсем иное.

Я сказал:

— Все в порядке. Спасибо. Мне пора.

Я еще раз бросил взгляд на картину — попрощался с Майей — и пошел к двери.

«Странный «фельдъегерь», — наверно, подумала хозяйка дома с кочующими вещами.

Они спускались с гор под ливнем. Они ощущали его тяжесть плечами, грудью, коленями... Им казалось, что они заблудились и попали в другую стихию, в которой вместо легких полагаются жабры. У них не было жабр, и им было трудно дышать в этом сплошном потоке, который обрушивался на них не дождем, а водопадом. Мокрые рюкзаки, как уродливые горбы, вздулись за их спинами и качали из стороны в сторону, а каменные тропы были опасно скользкими. И не было вокруг ни хижин, ни пещер — только склон горы, открытый всем ветрам и всем дож-

дям. Они здорово намаялись. И хотя вокруг текли потоки, им хотелось пить. Пить в окружении воды.

Майя шла первой. За ней шел Генка. Он страдал из-за нее. Он страдал ее страданиями, а своих не замечал. Если бы он мог понести ее на руках, закрыть собой от этого черного сплошного ливня!

Он видел только капюшончик на голове Майи, темный от воды рюкзак, кеды... Он замечал, как на крутых спусках ее ноги слегка дрожали от напряжения и усталости. Он один видел, как дрожали. А когда она спускалась боком, то видел ее нос, губы и прядку волос, мокрую, тоненькую. А над верхней губой и на подбородке скапливались капли дождя, которые она не успевала стереть рукавом.

Потом упала Нина Белова и о камни сильно содрала себе ногу. Она шла прихрамывая, а ее рюкзак по очереди тащили ребята.

— Осталось еще немного... Осталось еще немного, — утешали ее ребята.

А бинт все время съезжал с ноги, и рана кровоточила. Приходилось часто останавливаться, перевязывать Нинину ногу.

— Доберемся до реки, промою рану чистой водой, — говорила Майя Викторовна. — Потерпи.

— Я терплю. Мне ничего... — отвечала девочка.

— Опирайся на мое плечо, — предложил Гена.

— Спасибо. Мы вдвоем не поместимся на тропе. Узко.

И снова шли, глотая воздух, перемешанный с дождем.

Как трудно дышать без жабр под таким дождем!

Потом они спустились к реке — к взбесившейся горной реке, к обезумевшей от дождя горной реке, от которой шел грохот как от проходящего поезда или от танковой колонны, вытянувшейся на каменистой дороге, или от пласа де торос, когда точный удар шпаги в холку сваливает быка.

Майя взяла котелок с вмятиной на боку и самодельной проволочной дужкой и пошла к реке. Ее слегка покачивало от усталости, а от неестественного грохота реки гудело в ушах. Она дошла до каменной теснины и стала спускаться, осторожно нащупывая подошвой кеды выступы. Река проносила с такой скоростью, что Майя вдруг почувствовала себя стоящей на подножке стремительно мчащегося вагона. Только не было поручней, за которые можно было надежно ухватиться. Бешеный, сорвавшийся с привязи поток нарушал все законы физики: бревна

шли ко дну, а камни танцевали на волнах, как пробковые. По законам гор к такой реке запрещено приближаться. По инструкции турбазы — тоже запрет. Но ребята хотели пить. И надо было промыть рану Нине Беловой. Майя стала спускаться по каменной стене к потоку. Водяная пыль оседала на ее лице и руках. словно она помылась, а вытереться не успела. Майя облизала ставшие влажными губы и вздохнула. Осталось спуститься еще на метр, а там встать на камень, протянуть руку и подставить котелок под белый гребень буруна. Река кипела, в ней клокотал жуткий ледяной кипятки. Его брызги обжигали холодом. Река кипела, и подбрасывала круглые камни, и ловила их, каменные мячики. Майя зажмурилась. И снова открыла глаза. Она напряглась и сделала шаг вперед, решила на этот шаг. Нога оперлась на влажный валун, но Майя продолжала наклоняться вперед и только тогда почувствовала, как каменная стена отпрянула, а река стала приближаться оглушительно быстро, и в лицо жестко ударило холодом. Река вырвала из рук котелок с вмятиной на боку. И горы полетели вверх. Колеса поезда или траки танков загрохотали у самого уха, и Майя поняла, что она падает в воду.

Гена соорудил костер под огромным нависшим камнем. Девчонки принесли валежника. Валежник был мокрый, и его надо было разжечь.

Гена говорил:

— Интересно, как первобытные люди добывали огонь после дождя?

— Они хранили трут сухим.

— Они разводили огонь в пещерах.

Гена разжигал костер, а девочки перебрасывались словечками. Но все думали об огне, о тепле, о еде, о сне. А спички промокли и не загорались.

— Интересно, как первобытные люди сушили спички? — усмехнулся Гена.

И тут он услышал крик. Кто-то упал в воду.

Он распрямился и посмотрел в сторону речного грохота. До его сознания не сразу дошел смысл этого крика. Он сам звук услышал, а слов не разобрал. Он прочел смысл этих слов в глазах Нины, в расширенных, светлых от испуга, в застывших глазах девушки.

Какая-то пружина резко разжалась, и он сорвался с места. Он бежал к реке прыжками.

Есть такие минуты, когда вся жизнь уплотняется в одно мгновение. И когда каждое мгновение жизни становится нужным. Когда для великого и необходимого может не хватить каких-то важных мгновений. Это мгновение — как сверхплотная звезда.

Как много нужно вспомнить и как много забыть. И нет времени для подсчета, и некогда взвешивать. И чужая жизнь вдруг становится дороже собственной. Это мгновение подготовлено всей жизнью, но не всякой жизнью.

В это мгновение человек опережает свое время и живет на эпоху вперед, дальше всех остальных.

Может быть, он безрассуден?

Нет! Его разум как бы превращается в квантовый генератор, и решение вырывается, огненное и беспредельное, как лазерный луч. И сам человек как лазерный луч, и для него нет преград.

Когда Гена подбежал к реке, он на миг остановился, надеясь увидеть того, кто упал в бушующую реку.

Он услышал грохот, сливающийся в беспрестанный звук густой басовой струны, но не такой, какая ухает в чреве рояля, а огромной струны — толщиной в стальной трос, гудящей до оглушения. Генке показалось, что эта сверхструна не только заглушает все звуки, но и застилает глаза, и потому он не видит в реке человека.

Никто не успел подбежать к нему и крикнуть:

— Что ты собираешься делать?

Никто не успел схватить его за руку:

— Прыгать бесполезно!

Никто не успел преградить ему путь:

— Ты уже не поможешь!

Басовая гигантская струна гремела внутри его, тянула свою огромную всезаглушающую ноту.

Генка сделал вдох, прищурил глаза и бросился туда, в белое месиво. В ледяной кипятки. В магму.

Он не знал, что там она. Может быть, если б знал, то прыгнул бы раньше. Но этот миг ничего не решал. Решающий миг уже пролетел до того, как Генка очутился на берегу. Решающий, невозвратный.

Несколько мгновений Генкина голова была видна в потоке. Потом она пропала.

Над волнами взлетел камень. Взлетел легко, как мяч. Опустился же в волны тяжелым, пушечным ядром.

Басовая сверхструна оборвалась.

— Он же не мог ее спасти! Все равно не мог!.. — прошептала Нина Белова и беззвучно заплакала.

А может быть, она зарыдала в голос. Грохот потока заглушил все звуки. Все чувства. Все, кроме боли.

...И когда герой греческой трагедии не мог уже спастись от меча или от протянутой чаши с ядом, а набитый битком амфитеатр требовал его спасения, — появлялся деус экс махина. Бог в машине. Иногда бог сам не появлялся, а присылал за героем свою машину. Натягивались канаты, скрипели блоки — колесница отрывалась от земли. Доброе театральное чудо свершалось. Герой улетал ввысь, а враги, задрав голову, провожали его глазами, в которых бессилие и ненависть слились в тупое овечье изумление.

В тот день на берегу взбесившейся реки никакой деус экс махина не появился.

Нас было трое. Остался я один.

11

Эти холодные бессонные ночи тянулись бесконечно долго. Они давались как испытание и вместо отдыха приносили усталость. Я уставал от мыслей. Им не было конца. Одна мысль сменяла другую, но в общем-то это была одна трудная мысль — о Генке. Иногда мне все же удавалось заснуть. Но сон не прерывал моей главной мысли, только окрашивал ее в иной цвет.

Мысль о Генке имела множество разветвлений.

Одна из таких веток — ветка мысли — привела меня в плад де торос. Я как бы увидел пестрый, довольно-таки шумный поток людей, который, как в горловину, вливался в ворота и растекался по круглым рядам амфитеатра. Толпа была похожа на жидкость, которая принимает форму сосуда. Здесь сосуд был громадной чашей.

Люди спешили, наступали впереди идущим на пятки и отдавливали ноги тем, кто уже занял свое место. Одни огрызались, другие смеялись. У всех были одурелые глаза. Зачем они с таким радостным возбуждением пришли сюда? Посмотреть, как льется кровь? Разве они мало видели крови на полях Кастилии, на мостовых Бильбао, на баррикадах Мадрида? Кое-кто видел кровь на снегу под Сталинградом.

Помню, мы с Генкой ломали голову, зачем люди ходят на корриду.

И вдруг поняли: чтобы рядом с чужой смертельной опасностью ощутить липкую сладость своей безопасности. Но никто в этом не признавался. Когда я заговаривал с испанцами о корриде, они говорили: коррида — душа Испании, коррида — зрелище для мужчин, она закаляет сердца, делает их мужественными, коррида — школа для будущих бойцов...

Пустые слова! Жестокая трусость — душа тех, кто спешит сюда, наступая на ноги сидящим, чтобы насытиться чужим страданием. Набить себе рот, нажраться им до оскомины. Как медом.

Тогда мы с Генкой сделали открытие: высокие чувства выстраивают людей в колонны, низменные превращают в толпу.

Этой бессонной ночью, если бы можно было заказывать сны, я заказал бы себе такой — такой сон заказал бы я себе бессонной ночью после гибели Генки: были бы в этом сне и бык, и тореро, и пикадоры, и бандерильерос, и пионы, и толпа, и музыка, и жареные фисташки в пакетиках. Весь спектакль. Но пьеса была бы иной.

В самый критический момент, когда решается кто кого: бык — тореро или тореро быка, — четырехногий противник, рогатый гладиатор, вдруг повернулся бы спиной к тореадору и, сверкнув белками очей, устремился бы на толпу. Один бык бросил бы вызов тысяче людей в отместку за всех павших на этой арене братьев. Барьер. Еще барьер! Кинжальный взмах рогов. Копыта бьют в четыре молота. Бах! Бах! И лица людей — на одно лицо, слились в одно огромное, искаженное нечеловеческим страхом и вместе с тем страхом, который может испытать только человек. Это лицо, морда, харя, как бы оторвавшиеся с картины Гойи, — «черный период», Мадрид, галерея Прадо, — эта харя ожила бы, задышала, перекошенная животным страхом. Вот вам коррида, вот! Толпа, безликая, как вода, и по ней таким горбом движущаяся волна, которую поднял взбунтовавшийся бык.

Вот вам возмездие за вековую сладкую страстишку!

А посреди арены в этом заказном сне стоял бы тореадор и закуривал бы сигарету. Спокойно, как на отдыхе. Только руки бы слегка дрожали и пламя никак не попадало на кончик сигареты...

Но сны не снятся по заказу. Не знаю, кто создает и утверж-

дает сны, но в эту ночь мне приснился мертвый тореадор. Небольшой такой, на желтом овале, как на Генкином рисунке, в кукольном костюмчике, похожий на сувенирную куклу. Быка рядом не было. И не видно, что делает толпа: размахивает ли руками, орет ли, кидает ли гнилые апельсины или богобоязненно крестится — католики!

Я медленно шел по речному песку и никак не мог дойти до центра арены, где лежал тореро. Хруп-хруп, хруп-хруп! Как далеко, однако! Я выбился из сил, прежде, чем подошел к нему. Заглянул в лицо и признал в нем Генку. Генка! Что ты здесь делаешь? Вставай, я стряхну с тебя песок, и пойдем!

Он молчал и глаз не открывал. А на рукаве у него — на левой руке — был повязан Майин платок — белый в горошек.

Тогда я опустился на колени и потряс его за плечо: вставай, спектакль кончился.

Не поднялся мой Генка. И не откликнулся.

И вдруг я понял, что это не спектакль. Нет ни трибун, ни зрителей. Нет ни пикадоров, ни пионов, ни бандерильеров. Только мокрый песок и на нем мертвый Генка. Ноги вместе, руки раскинуты, как снятый с креста.

И несмолкаемый грохот горной реки.

Сперва я жил одной надеждой, как на камфоре. Могла же произойти ошибка, мог сработать «испорченный телефон». Может быть, еще появится деус экс махина. Вдруг это случилось с кем-то другим, а лучше бы совсем ни с кем не случилось. Или Генка спас Майю, и они скоро вернутся.

Но моя камфора очень скоро иссякла.

А все, что произошло на берегу горной реки, отложилось острым кристалликом возле сердца, постоянно напоминавшим о себе, как осколок, привезенный с войны в собственном теле. И жить с ним было невыносимо.

Я не успел, вернее, не посмел рассказать Майе о своей любви, а Генка так и не узнал, во имя кого он бросился в бурлящий поток.

У него были задумчивые, как бы смотрящие откуда-то из глубины глаза. И потому что они смотрели из глубины, казалось, что глаза у него темные. А они были серыми. Они не перебежали с одного лица на другое, и если смотрели на кого-либо, то неторопливо, сосредоточенно. Людей обижает торопливость: она помимо воли спешащих говорит о поверхностном от-

ношении, о равнодушии. Я вспоминаю, как часто смотрел на меня Генка. Тогда он полностью принадлежал мне и ничто другое его не занимало. Только на Майю он не мог смотреть подолгу, опускал глаза, и сквозь кожу лица проступал накал смущения. Но один бог — деус экс махина знает, сколько он думал о ней и какой праздник любви возникал в этих мыслях. И какая боль сменяла радость праздника.

Когда я в первый раз увидел Майю, ее глаза были как бы подернуты тончайшей корочкой льда. Она была чужой и насмешливой. И не было в ней ни теплинки. Я еще хотел поделиться своими впечатлениями с Генкой, но не стал этого делать: берег его иллюзии.

Потом ее глаза потеплели, словно солнце ударило в них, и льдинки растаяли. И вместе с Майиными глазами стала оттаивать земля, зазвенели сосульки — сталактиты зимы, осел и потемнел снег, ветер теплым дыханием, словно только что от огня, касался щеки. И все это исходило от Майи, от ее потепления. Но об этом знали только мы с Генкой.

С чего теперь будет начинаться весна? Без Майи?

Когда был жив Генка, я не мог признаться в своей любви к Майе ни ей, ни самому себе. Теперь мне уже было не от кого таить своих чувств, я дал им запоздалую волю. Но это не принесло мне облегчения. Кристалл-осколочек острой гранью упирался в сердце.

Я уже не воспринимаю их отдельно, они возникают во мне всегда вместе, вместе со мной самим. Две разные любви слились в одну — в одну тревожную, раненую любовь, которая живет во мне, стала частицей меня самого.

Я помню, Майя сказала:

— Тебе знакомо имя Бурбаки? Был во Франции такой математик. Он родился не от матери, и никто не знает, какие у него были волосы, глаза и какой номер ботинок он носил. Этого Бурбаки придумали молодые математики. Они попытались создать некую математическую школу. И приписали ее этому несуществующему Бурбаки. Его, несуществующего, даже приглашали на конгрессы математиков. И на дверях появилась табличка: «Месье Бурбаки»... А потом в одной парижской газете появился некролог, извещающий о смерти Бурбаки. То ли ребята перессорились, то ли зашли в тупик со своей новоявленной школой. И Бурбаки не стало.

Генка и Майя — мои дорогие Бурбаки — мой слиток.

Мне кажется, они вернутся. До весны дотянем, а там наши подойдут. Задержались на каком-то трудном перевале, а может быть, их затерло льдами. Но они вернутся. Они вернутся, если я буду бороться за их возвращение.

Главное, не заниматься воспоминаниями. Воспоминания — отголосок жизни, ее прошедшее время. Увядшая любовь, остывшая борьба. Полная расслабленность. Прочитанная книга.

Мне вдруг стало казаться, что я в чем-то виноват перед Генкой и Майей, что должен был быть в тот день на берегу бешеной реки. Но для такого поступка нужна была не только отвага, но и детская непосредственность, инопланетное восприятие мира, которое было только у Генки, а у меня его осталось так мало.

Однажды на меня нашло просветление. Я вдруг понял, что надо делать. Я должен найти место в жизни и утвердить то высокое мгновение, когда Генка ради товарища бросился в бешеную реку. В тот момент я еще не представлял себе, как крепко запирают ворота неспособные на подвиг перед подвигом способных.

Я сказал себе: тореадор, смело в бой! И начал свою трудную корриду.

12

Вот тогда я в первый раз постучал к директору Пирогову. Он держал себя ладонями за локти и слушал меня настороженно, не понимая, чего я от него хочу, в чем я его обвиняю.

Я сказал:

— Совершается преступление.

У него глаза цвета жидкого чая, а ресницы прямые, беледые, как щетина. Но чай горячий, а щетина колется.

— Какое преступление? Что вы от меня хотите? Была комиссия. Были сделаны выводы об этом несчастном случае.

— Был совершен подвиг, — сухо поправил я.

— Ну, это вы можете называть, как хотите. В выводах комиссии ни о каком подвиге не говорится. Я читал материалы...

У него щеки вытянуты, а на скулах клюквенные блики, такой болезненный румянец сидящего в четырех стенах человека.

— Я не могу понять, чего вы пытаетесь? — вдруг спросил он.

— Не пытаюсь, — отвечаю, — я хочу восстановить спра-

ведливость. Я хочу, чтобы о вашей школе, в которой учился Генка, знала вся страна.

— Не надо!

Это слово вырвалось из самых директорских глубин.

Клюква разгорелась сильнее, а чай прямо-таки закипел, готовый выплеснуться мне в лицо. Нет, это не усталый человек. Не тихий молчун. Это боец! Готовый до последней капли крови... За свой покой. За свое благо. Не надо ни выговоров, ни благодарностей. И чтобы лампочка светила над головой. И в графине была вода из-под крана.

Я не сразу понял его. Он ведь для меня тоже инопланетянин. Только не с Генкиной планеты, а с другой, с антипланеты. Потом в каком-то полубреду я услышу его железный голос: «Я нигде не был. До меня тогда еще не додумались. А на предприятии, где меня изготавливают, тогда штамповали банки для противогазов и делали «рубашки» для гранат».

Я еще пытался говорить с ним как с человеком. Я сказал:

— Ему уже ничего не надо. Ни славы, ни почета. Но Генкина слава как воздух нужна ребятам, которые носятся за дверью по коридорам и порой получают колы. Им эта слава нужна, чтобы строить новую жизнь, чтобы защищать Родину.

— Красивые слова. — У директора Пирогова на все есть ответ. Не конкретный, а вообще! Когда общаешься с ним, кажется, что он в своей жизни не решил ни одной задачи, а только списывал готовые ответы с последней страницы задачника.

— Защищать Родину — это не красивые слова, — не сдавался я. — Двадцать два миллиона советских людей погибли, защищая Родину. У вас никто не погиб?

— Это не имеет отношения к делу.

— Что же имеет отношение к делу?

— Вы мешаете мне работать. Вы долго и упорно отвлекаете меня от дела.

Но я не встаю и не ухожу. Я занимаю круговую оборону и продолжаю бой. Я говорю:

— Послушайте, вы когда-нибудь в жизни плакали? Хотя бы в детстве, когда вам разбивали нос или оставляли одного в темной комнате?

Он смотрит на меня с опаской, ждет подвоха. И отвечает с опаской, чтобы не попасть в западню.

— Плакал... Я плакал... — Он выжидающе посмотрел на меня. Я смолчал. Тогда он снова пошел в наступление. — Я — че-

ловек на посту, понимаете? И что у меня здесь творится,— он ударил себя кулаком в грудь,— это никого не касается. Может быть, я по ночам вою от горя.

— По ночам воее, а днем... Вас разве двое? Может быть, у того, ночного, другое имя?

— Хотите привести меня к общему знаменателю?

— Хочу...— И тут я заплутал, я забыл, для чего я здесь, с какой стати бьюсь головой об стенку. Я сказал: — А не все ли равно, что я хочу. Но не оскорбляйте своим дневным равнодушием память о хороших людях. Не обвиняйте их в том, в чем они не виноваты. И не пытайтесь свалить на них свою вину. Тем более что вы ни в чем не виноваты.

— Как не виноват?— Он удивленно выкатил на меня глаза.— Как? Я отвечаю за школу. За все, что происходит с моими учениками и учителями. Как это я не виноват?

Обиделся, что его называли невиноватым.

Тут кровь ударила мне в голову. И я долго тер ладонью лоб, разгоняя кровь. Потом я сказал:

— Знаете, что такое дикое железо?

Он признался, что не знает. Я стал объяснять:

— Есть железо, которое работает, служит людям, притерлось к человеческим рукам. А есть железо — брошенное, ржавое, скверное. После войны вся земля была усеяна этим диким железом.

— И что из этого? Какое это имеет отношение к делу?

— Имеет отношение. Подумайте.

Он посмотрел на меня и крепче сжал ладонями локти. Он встал, выпрямился и оказался длинным, прямо высоченным.

— Мне сейчас надо о другом думать,— устало сказал он.— О случившемся доложили министру. Решается моя судьба. Жду приказа.

Я не сдавался. В меня, как в плохого тореадора гнилые апельсины, летели слова: «обсудим», «согласуем», «разберемся». И мне казалось, что эти слова из другого языка, а не из того, на котором было написано: «Я помню чудное мгновенье». И если бы Майя и Гена не продолжали жить во мне, если бы не моя любовь, может, я и отступил бы.

В редакции меня встретил пожилой мужчина с глазами благодетеля. Он протянул мне мягкую руку и предложил сесть. И пока я рассказывал, участливо покачивал головой, сочувственно поддакивал.

Поддакивал, поддакивал, а потом вдруг сказал: «Нет!»

— Если бы они не погибли... Если бы учительницу спасли... А тут такое дело! Надо разобраться...

— Если надо, разберитесь,— сказал я.

— У нас много более важных проблем.— Голос у него тоже был мягкий.— Мы освещаем жизнь народа.

— Разве подвиг не жизнь народа?

— Подвиг? А подвиг ли это? Может быть, просто стечение обстоятельств? Мы неохотно пишем о смерти. Если бы он не погиб — тогда другое дело!

Я посмотрел ему в глаза и вдруг заметил, что глаза у него старые, студенистые, но в этой невнятной массе пробивался лучик, холодный и жестокий. Была в этом лучике какая-то снайперская настороженность. Я понял, что передо мной не добрый, мягкий дядя, а боец. Он добрый, когда ему дают то, что он хочет. Но попробуй ему один раз недодать его порцию!

Этот чистенький дядя с глазами благодетеля приснился мне ночью. Мне приснилось, что я выхожу на арену плас де торос, а на меня вместо быка бежит этот волоокый, в финском костюме, с белыми манжетами. И таким он оказался проворным и резвым, что я едва успевал подставлять ему под нос свою выдавшую виды мулету. Он меня совсем измотал. У меня по лицу текли ручейки пота, и по спине тоже тек ручеек, а он, несмотря на свой преклонный возраст, продолжал свои бычьи наскоки.

Я не выдержал и крикнул:

— Хватит! Давайте мне настоящего быка! С хвостом и рогами, черт побери!

Благодетеля увели. Он не хотел уходить. Все брыкался и норовил лягнуть ножкой (ботинок № 39, югославский). И когда на арене появился настоящий бык, я облегченно вздохнул.

Два больших круглых глаза — два мира смотрели на меня. Два мира, полные удивления и отчаяния, бессилия и мощи. Они смотрели на меня, а видели мулету, которая грязно-розовой волной спускалась на землю. Их, эти два мира, обманули: не в мулете таилась их гибель. Мулета была обманом, призраком, на который можно бросаться, пронзать рогами, а он, этот призрак, остается цел и невредим. И эта неуязвимость внушала быку ужас.

И вдруг под тяжестью своих переживаний я пожалел быка. Я опустил руку, и мулета превратилась в обыкновенную тряпку. Призрак растаял. Его не стало. Бык облегченно вздохнул... Он

отошел в сторону. Опустил голову, чтобы пощипать травку. Но никакой травы не было. Ни травинки. Песок. Крупный, зернистый, речной!

А огромный амфитеатр бесновался, орал:

— Трус!.. Свинопас!.. Сын шлюхи!..

В меня летели гнилые апельсины

Бык был спокоен. Он забыл про две бандериллы, которые торчали из его кожи. Он смотрел в мою сторону почти дружелюбно.

Тогда я срываю с себя широкополую шляпу и запускаю ее, как «летающую тарелку», в публику. «Нате, подавитесь! Рвите! Топчите!»

Публика орет. А бык понимает меня правильно. Воспринимает мой жест как акт братания. Он доверчиво подходит ко мне, и я замечаю, что нос у него младенчески розовый, а из ноздрей мне в щеку льется теплая струйка дыхания. Выпуклые глаза смотрят на меня по-детски глупо и вместе с тем с любопытством. И от него пахнет хлебом. Меня же охватывает радость от сознания, какое чудное существо я спас, вернее, не загубил.

И тогда я бросаю на землю тяжелую мулету — мешковину, розовую от сукровицы, — и бык проходит по ней как почетный гость по красному ковру. Он поднимает хвост и оставляет на мулете неизгладимый след, как бы погашает марку почтовым штемпелем. Так он по-своему, по-бычьему высказывает все, что думает о корриде.

А я говорю ему — и он понимает меня:

— Слушай, ну их к черту с их испанскими забавами. Пошли со мной. Я отведу тебя в прекрасный подмосковный совхоз «Новостройка» к председателю Нине Ивановне. Там светлые фермы с автопоилками и автодоилками. Ты будешь стоять в тепле, под крышей, и к твоим ногам будут жаться телята. А доярки станут называть тебя «Испанцем» и будут баловать тебя так, как умеют только русские.

И мы уходим с плас де торос ко всем чертям, и крупный речной песок хрустит на прощанье под ногами, как на берегу речки.

Раннее ноябрьское утро пахнет снегом. А вместо летнего, выжигающего все печали солнца медленно восходит другое, равнодушное, холодное, светящееся вполсилы. Ленивое солнце осени.

Но у этого солнца есть достоинство: оно не мешает думать. Оно не бьет в глаза слепящим лучом, и многое на свете становится видней. Осеннее солнце — философ, с ударением на последнее «о».

«Сегодня утром я был ребенком, и вот я уже старик».

Так одним днем измерил свою жизнь Петрарка. Но он еще измерил свою жизнь одной любовью, и это петрарковское измерение живет века. У каждого человека свое измерение. Только обыватели измеряют жизнь отрывными календарями. Отрывают листочки. Летом ругают жару, зимой — мороз. Вот и все дела!

Но все их дни, все горы их календарей не стоят одного дня Петрарки. Трудный это был день, но прекрасный. Петрарка чем-то похож на осеннее солнце — тоже философ, с ударением на последнем «о».

Обыватели говорят: подвиг хорош, когда он был когда-то. Теперь подвиг — дело хлопотное и всегда связанное с нарушением правил, с комиссиями, с объяснениями. Неизвестно еще, как обернется дело. А совершил его кто-то другой — не обыватель же будет совершать подвиги! — и, значит, никакой корысти мне, обывателю, от этого подвига нет.

Он, обыватель, ведь тоже философ, с ударением на все гласные одновременно.

Три времени даны человеку для жизни: настоящее, прошедшее и будущее. Три времени — три измерения жизни. Но прошедшее — это не только память, а будущее не только надежда.

Я же не даю Майе и Генке умереть. Я веду их из вчерашнего дня в завтрашний через труднопреодолимый сегодняшний. Пробуждаясь, я здороваюсь с ними. Отходя ко сну, прощаюсь. Иногда они мне снятся, тогда мы совсем не расстаемся.

Недавно в нашем поселке застрелили собаку. Прекрасного доброго пса, названного, как называют всех рыжих, Рыжим. А его друг Эрик все сидит у ворот, все ждет его, друга. Иногда он воет — скучает. Скучает — значит, ждет. Интересно, когда он поймет, что ждать бесполезно? Перестанет ли он скучать, поняв, что Рыжий уже никогда не вернется? Или тоска и ожидание у собак — одно чувство?

Майя погибла, но моя любовь продолжает жить. Моя любовь — мой наивный Эрик, верящий в бессмертие Рыжего. Я ведь тоже иногда скулю от непроходящей любви.

И дружба моя с Генкой — мой верный пес — со мной.

Нет, это не просто бой — это коррида, моя трудная коррида в честь прекрасной дамы, моей любви к Майе. Коррида в честь моего друга Генки. Бой с быками. С тупыми медными лбами, которые в отличие от кастильских никогда не паслись на травке и живут в надежде на непробиваемость своих медных лбов. Но шпага занесена.

ТЯЖЕЛАЯ КРОВЬ

У нас с сыном глаза серые, с едва заметными крапинками. В ясный летний день от травы и листьев крапинки становятся заметнее и глаза зеленеют. В пасмурные дни глаза серые — крапинки пропадают совсем. У сына припухшие веки, а ресницы редкие, острые, как обойные гвоздики. Смотрит он исподлобья, потому что у него привычка слегка наклонять голову вперед, как бы желая коснуться подбородком ямочки между ключиц.

Глаза сына смотрят на меня, хотя самого его давно нет рядом. И вот уже сколько лет я всматриваюсь в них, хочу прочесть ответ на вопрос, мучающий меня всю жизнь, начиная с того далекого страшного дня.

В отличие от других дней моей жизни этот не затерялся во времени, не отстал в дороге — он всегда рядом, как вчерашний день. Его краски четко стоят у меня перед глазами. Звуки не замерли. Каждое слово, крик, выстрел, шелест травы, хруст гравия под сапогами, трель какой-то маленькой пичуги звучат во мне. Этот день неизмеримо больше всех остальных, он стоит за моей спиной, прирос к моей спине, как тяжелый уродливый горб. Я чувствую его, как свои руки, лицо, плечи, грудь. Он болит. И снова — в который раз! — я напряженно всматриваюсь в глаза сына и силую прочесть, что застыло в них: горькое недоумение или понимание, упрек или прощение? Я подхожу к зеркалу — глаза сына смотрят на меня виновато, хотя они ни в чем не виноваты. Постойте! Это не его глаза. Это мои. Это они смотрят виновато. Я надеялась увидеть его глаза, а увидела свои собственные...

Когда я возвращаюсь в тот день, меня оглушает звенящий

визг лесопилки. Лесопилка работала у нас в городе и до прихода фашистов. Но мы не замечали ее, привыкли к ней, как к дробной поступи проходящих поездов. Когда звуки мирного города умолкали, визг лесопилки обнажался. Казалось, немцы только и делали, что пилили.

Сперва мой сын говорил:

— Лесопилка не дает мне спать.

Потом он стал говорить:

— Лесопилка не дает мне жить.

Она не давала ему жить, хотя он работал на этой лесопилке и получал за это хлеб.

И еще появилось совершенно новое гадливое ощущение, которое возникло при встрече с гитлеровцами. Что-то среднее между отвращением и страхом. Оно проходило по телу тупой, знобящей волной, как бывает, когда ненароком наступишь на змею.

Однажды мой сын вернулся с работы и сказал:

— Неужели так будет всю жизнь?

Я сказала:

— Когда кончится война, все будет по-прежнему.

Он покраснел и еле сдержал свое раздражение.

— Когда кончится война?! Ведь бывали в истории столетние войны. Было татарское иго — триста лет! Так, мама, и жизни не хватит ждать, пока она кончится.

Через несколько дней он сказал:

— Так невозможно жить. Мы совсем не приспособлены к такой жизни... Меня сегодня толкнул солдат. Я сжал кулаки и так побледнел, что он испугался. Он подумал, что я на него брошусь, и сорвал с плеча винтовку.

Рассказ сына очень встревожил меня. Я сказала:

— Будь осторожен, сынок. Там, где наготове оружие, надо быть осторожным.

— Знаешь, мама, — сказал он, — я боюсь, что в другой раз не смогу сдержаться. Видимо, помимо обычной воли, у человека есть высшая, которая не слушается ни страха, ни разума.

— Надо сдерживаться, чтоб жить.

— Так жить не хочется. Неужели ты этого не понимаешь, мама?

Я промолчала. Я все понимала, но не хотела разжигать того огня, который мог сжечь его самого.

Однажды мы шли с ним по городу. У базара на длинной

скамейке сидело человек пятнадцать солдат. Вытянув ноги, они грелись на солнышке и перебрасывались словечками. Когда мы проходили мимо, гитлеровцы бесстыдно уставились на меня. Я почувствовала на себе липкое прикосновение их взглядов. Сына передернуло. Он сильно сжал мою руку и долго шел молча. Потом спросил:

— Мама, ты могла бы убить человека?

— Господь с тобой!— Я испуганно посмотрела на сына. Его спокойствие испугало меня. И я спросила:— А ты мог бы?

Он ответил:

— Нет! Человека нет, но фашиста...

В нем что-то созревало. Проходила какая-то скрытая работа. Что-то погибало, что-то рождалось. Он готовил себя к страшному и неизбежному.

— Я прошу тебя, мой мальчик... Освободись от этого.

Он опустил голову.

— Ты не знаешь еще, что такое опьянение кровью,— продолжала я.— Вокруг слишком много легкой крови.

— Что такое легкая кровь?— спросил он.

— Беснаказанная... Сперва человек страшится ее. Потом становится к ней равнодушным. Потом входит в раж и начинает пьянеть от крови.

— Как тигр?

— Может быть, пострашней тигра. В человеке просыпается существо, разумно жаждущее крови, двуногий тигр — фашист.

— Я понял тебя, мама. Я это чувствовал, но не мог понять. Теперь я понял — их надо убивать, как тигров-людоедов. В Индии на тигров, отведавших человеческой крови, идут целыми поселениями.

Я испугалась его слов. Сама не желая того, я навела сына на мысль, от которой хотела его уберечь. Мне стало не по себе. Я попробовала дать отбой — ничего не вышло с отбоем.

В последний раз, уходя на лесопилку, он сказал:

— Я, может быть, задержусь, ты не волнуйся.

— Где ты задержишься?

— На работе,— ответил он.

Он был спокоен. И я решила, что он спокоен потому, что не с чего волноваться. Но он уже не принадлежал мне. Полностью и безраздельно принадлежал он новому, страшному делу. И уже не могло быть ни отступления, ни перемены намерений.

Я этого не поняла. Не почувствовала. А если бы поняла? Что бы я сделала? Прегрاديла бы ему дорогу?

Когда визг лесопилки неожиданно оборвался и стало необычно тихо и покойно, я почувствовала что-то недоброе. Смутная догадка подсказала мне, что происшедшее связано с моим сыном. Я побежала на лесопилку. Над ней стоял дым. Тревожно алели пожарные машины. Лесопилка была оцеплена солдатами. Я подошла к воротам, сказала, что у меня там работает сын. Мне ответили, что там сейчас никто не работает. Где же все? Одних арестовали, других разогнали по домам. Лесопилка не работает. Произошла авария.

Наверное, сына прогнали домой и мы разминулись с ним. Так я подумала и побежала обратно. Дома его не оказалось. Я стала ждать. Остаток дня. Вечер. Ночь. Весь огромный мир уплотнился, сузился. В эту ночь не существовало ни мужа, ушедшего на фронт в первый день войны, ни школы, где я работала, ни моих учеников, не было ни сна, ни голода — только сын в фокусе всего моего существа.

Не знаю, как я дождалась утра, сколько раз выбегала за ворота, прислушивалась: не зазвучат ли вдалеке его шаги. Город спал. Как ночная, бессонная птица, металась я и ждала, когда пройдет комендантский час и можно будет бежать ему на помощь, а когда я наконец очутилась в комендатуре, мне сказали:

— Ваш сын приговорен к казни.

Я прислонилась к стене. Потом собралась с силами.

— Можно мне видеть коменданта?

Меня пропустили. Комендант сидел на табуретке. На нем был только один сапог. Другой он держал в руке и придиричиво осматривал.

Комендант, вероятно, страдал лихорадкой, потому что его лицо было желтым и на нем проступали следы недосыпания и усталости. Под глазами начинали вырисовываться темные мешки. Выпуклый лоб, глаза слегка нависают.

— Пожалуйста,— сказал он,— садитесь.

И отшвырнул в сторону сапог.

— Мне все время кажется, что у меня в сапоге гвоздь. Но никакого гвоздя нет. Болит старая рана.

— Вы были ранены?— пытаюсь быть участливой, спросила я.

— В Испании,— ответил он.— Позорное ранение, в пятку. Смешно, не правда ли?

Его лицо как-то искривилось в улыбке. Но я не ответила на его улыбку то ли от волнения, то ли опасаясь обидеть его. Я спросила:

— Болит?

— Нет, не болит. Но все время кажется, что я наступаю на гвоздь. Солдатские раны на войне лучше всего врачует смерть,— вздохнул он.— От скольких неприятностей избавляет она солдата.

— Разве вы не хотите жить?— спросила я.

— Хочу. Но меня никто не спрашивает об этом. Мне никто не предлагает выбора. Вчера ваши партизаны застрелили нашего солдата. Он тоже не хотел умирать, но его никто не спрашивал. У него не было выбора. Что вы на это скажете?

— Ни одна мать никогда не смирится со смертью,— сказала я.

— Наши матери далеко,— он вздохнул.— Расстояние и время смягчают удар.

Я покачала головой. Комендант поднялся, сделал несколько шагов, прислушиваясь к своей боли. Его ни разу не кольнуло.

— Когда хожу босиком — все в порядке,— сказал он.— Стоит надеть сапог — колет. И никакого гвоздя нет.— Он вдруг остановился, поднял на меня глаза и спросил:— У вас ко мне дело, госпожа учительница?

Я испуганно посмотрела на него и прошептала:

— Я пришла умолять вас о моем сыне!

— Умолять? О сыне? Ему надо помочь?

— Он приговорен к казни.

Мейер вытер лоб ладонью.

— Он работал на лесопилке...

— Ах, лесопилка!— Он как бы вспомнил о лесопилке.—

И ваш сын... Понимаю, понимаю...

Я не могла взять в толк — издевается он надо мной или сочувствует. Хотела думать, что он сочувствует. Смотрела на него глазами, полными слез.

— Эти глупые, неразумные мальчишки убили часового,— после недолгого молчания сказал комендант.

— Я отдаю себе отчет, насколько это вам сложно, невыносимо трудно,— заговорила я.— Но умоляю вас войти в мое положение.

— Понимаю,— сказал он и как бы ушел в себя.

Я поверила, что он сочувствует мне, ищет выхода. И чтобы

он самостоятельно не пришел к отрицательному решению, я заговорила:

— Ваша мать жива?

— Моя матушка?— Он слегка посветлел.— Моя матушка?

По-немецки это звучало «мейн муттерхен».

— Она служит в госпитале в Дюссельдорфе. Старшей фельдшерницей. Вы знаете,— комендант оживился,— она чем-то похожа на вас, хотя вы значительно моложе.

— Все матери похожи друг на друга.

— Совершенно верно,— он как бы перенесся в далекий Дюссельдорф, в родной дом, к своей муттерхен.— Ей со мной тоже досталось, когда я был школьником. Интересно, если бы моей матери сказали, что ее сын убил вражеского часового, сжег лесопильный завод и приговорен к казни, что бы она сделала?

Я молчала, давая ему возможность прийти самому к выводу, который невольно напрашивался.

— Она бы пришла к русскому коменданту просить за меня. Не правда ли?

— Я в этом глубоко убеждена.

— И какое решение принял бы русский комендант? Вы думаете, он бы помиловал сына моей матери?

— Не знаю,— тихо сказала я.— У русских плохо развито чувство мести.

Комендант испытующе взглянул на меня.

— Вы уклоняетесь от прямого ответа. А сами ждете от меня ответа вполне определенного.

Я подняла глаза на коменданта. Сейчас что-то должно в нем произойти, привести его к решению, от которого зависела жизнь моего сына. Он медлил: то ли сам колебался, то ли испытывал меня.

Потом он сказал:

— Одного часового убили четверо юношей... Это вполне могли сделать и трое. Не правда ли?

— Правда,— отозвалась я.

— А один мог быть задержан случайно. Могло ведь так случиться?

— Могло,— с готовностью подтвердила я.

На меня нашло материнское ослепление. Никого вокруг не существовало. Только мой сын. И для того чтоб он был, я готова была на любое признание, на любой поступок. Прощала гордость. Обязанности перед близкими людьми. Только бы он

жил! В надежде выиграть, я играла с Мейером в игру, которую он мне предложил.

Комендант покосился на часы и сказал:

— Вам придется поторопиться, госпожа учительница, казнь произойдет через пятнадцать минут.

— Куда мне бежать?

— Бежать не нужно. Вас довезут на автомобиле. Тут недалеко. Километра полтора.— Он крикнул:— Рехт!

Появился длинный, худой Рехт. Получил распоряжение. Я пошла за ним, даже забыв поблагодарить господина Мейера. Мне казалось, что Рехт идет очень медленно, и все время хотелось потянуть его за рукав, но я боялась испортить дело.

Жаркая, слепящая радость обволокла меня. Я спасла сына!

Мальчики стояли у освещенной солнцем кирпичной стены. Их было четверо. Все четверо — мои ученики. Они были такими, какими я привыкла их видеть всегда. Только неестественно бледны, словно припекающие лучи не касались их, а скользили мимо. И со стороны казалось, что четверо ребят загорают на солнце.

Машина остановилась. Я нетерпеливо прыгнула на землю. Вслед за мной, согнувшись вдвое, из машины выбрался длинноногий Рехт. Он распрямился и крикнул:

— Сын госпожи учительницы может отойти от стены! Который из вас сын госпожи учительницы?

Мой сын не шелохнулся. Он стоял неподвижно, как будто команда Рехта его не касалась. Тогда я сделала еще несколько шагов и встретила взглядом с Кирюшей.

Его карие глаза смотрели на меня пристально и печально. В них светилась какая-то неистребимая детская доверчивость, обращенная ко мне. Я почувствовала, что ему хочется взять меня за руку — тогда ничего не будет страшно.

Кирюша сильно заикался, и я любила его больше остальных учеников, как мать любит больше больного ребенка. Я любила его за беспомощность и всячески старалась облегчить его участь. Кирюша всегда держался около меня — так он чувствовал себя уверенней.

Однажды он взял меня за руку и повел в дальний угол школьного сада: он боялся, что его услышат. Кирюша долго не решался заговорить. Краснел, отворачивал голову.

Я сказала:

— Повернись!

Он через силу повернулся ко мне и сказал одними губами:

— Я должен умереть!

— Почему ты должен умереть?

— Потому что я люблю... ее.

— Любят не для того, чтоб умирать,— сказала я.

— Но я должен умереть. Я не могу ей даже сказать... слово. Кирюша отвернулся.

— Хочешь, я ей скажу?

Он решительно замотал головой.

— Почему же, Кирюша?

— Зачем ей заика, если она такая прекрасная,— ответили мне Кирюшины губы.

Я не стала расспрашивать Кирюшу о предмете его любви. Я давно догадывалась.

— Если не умереть, то уехать,— примирительно сказал он.

— Куда ты уедешь?

— Все равно куда. Страна большая. Понимаете, она смеется надо мной. Я сказал ей: «Приходи к мосту. Мне надо с тобой поговорить».

«Поговорим здесь».

«Нет. Приходи к мосту».

Я ждал ее полчаса на мосту. Она пришла и говорит:

«Что ты мне хотел сказать?»

Я молчал. Я не то что заикаться, говорить не мог. Тогда она сказала:

«Говори, а то я уйду. Мне некогда».

Ей было некогда, а я совсем растерялся. Хотел сказать, что она самая прекрасная в мире, а получилось так: «Ты мне нравишься... Давай с тобой дружить».

«Мы и так с тобой дружим».

Мы, конечно, с ней дружили, но не так. Я сказал:

«Я прочитаю тебе стихи!»

Она очень удивилась, но сказала:

«Читай».

«Сейчас прочитаю».

И тут, как назло, я забыл все до последней строчки.

«Читай, читай!»

Я молчу. Тогда она вдруг сбиделась:

«Ты решил подшутить надо мной?»

«Нет».

«Ну, я пошла. Ты решил тридцать четвертую задачу?»

И она убежала. Что мне делать? Она ничего не поняла.

— Не вешай голову, Кирюша,— сказала я.— Придет время, и она поймет тебя.

И когда у кирпичной стены наши глаза встретились, что-то дрогнуло во мне и смутная мысль обожгла меня: не предаю ли я сейчас Кирюшу? Я опустила глаза, и когда подняла их снова то встретилась взглядом с Дубком.

Его фамилия была Дубок, и все звали его не по имени, а по фамилии, потому что он больше походил на прозвище: он был маленьким, плотным, упрямым. И на лбу у него было две выпуклости, как у бычка, у которого прорезаются рожки.

Этот Дубок жил в атмосфере подвигов, которую сам для себя постоянно создавал, разогревая свое легкое воспламеняющееся воображение. Однажды, еще в младшем классе, он остановил курьерский поезд. В те годы часто писали о пионерах, которые, заметив неисправность путей, останавливали поезда. Так вот Дубок стал ходить по путям и придирчиво осматривать шпалы, рельсы, стыки. И однажды ему показалось, что шпала треснула. Ему показалось, но он сорвал с себя красный галстук и побежал навстречу поезду. И остановил.

Машинист прыгнул на землю.

— Что случилось?

— Шпала треснула,— радостно ответил Дубок.

— Покажи!— мрачно потребовал машинист.

— Идемте, покажу...

И они пошли. И надо же было случиться, что Дубок никак не мог найти треснувшую шпалу. Его пионерский подвиг кончился тем, что он получил хорошую затрещину и полетел в кювет. А курьерский промчался мимо.

Однако это происшествие не охладило его пыл. В седьмом классе он попытался прыгнуть с парашютной вышки. Его прогнали. «Пошел отсюда, пузатая мелочь»!

«Пузатая мелочь» пришел в парк ночью. Когда никого не было. По скользким от росы перекладинам забрался на вышку. Натянул на себя лямки парашюта и прыгнул. Но парашют был застопорен, и ночной прыжок не удался. Дубок повис между небом и землей. Так он провисел всю ночь. Но на помощь не звал. Терпел. Да и звать-то было некого в пустом ночном парке.

Утром его сняли. Опять дали по шее и привели в школу. Меня вызвали к директору. Дубок стоял перед директорским столом, как на знаменитой картине Иогансона «Допрос коммуни-

ста». Директор сердился. Дубок слушал, наклонив упрямый бычий лоб. И вдруг он сказал:

— А Валерий Чкалов пролетел в Ленинграде под мостом.

Директор ударил кулаком по столу.

— Так то был Валерий Чкалов!

Дубок покачал головой:

— Тогда он не был Валерием Чкаловым. Был просто молодой летчик. И ему попало.

— И тебе попадет.

— Я знаю,— спокойно сказал Дубок.— И Валерий Чкалов тоже знал. Подвиги всегда совершаются не по правилам... Нет такого правила, чтоб человек шел на верную смерть.

Директор вдруг перестал шуметь. Он прошелся по кабинету, потом остановился перед Дубком и неожиданно сказал:

— А ты силен, мужик!— Директор улыбнулся.— Я в детстве тоже прыгал. С тополя.

— Получилось?— деловито спросил Дубок.

— Повис на штанах. Вроде тебя,— как равному, ответил директор.

У кирпичной стены, перед лицом близкой смерти эта сила продолжала жить. Она не была сломлена и передавалась товарищам. И пока я смотрела в его глаза, она передавалась и мне. Мне казалось, что он своим долгим сильным взглядом спрашивает меня: «Что делает?» И если я отдам приказ, он исполнит его, не дрогнув. Он ждал моего сигнала. Но какой сигнал я могла подать, если за моей спиной стояло полдюжины фашистов с автоматами, прижатыми к животу?

Я отвела глаза и встретилась взглядом с Мишей. Мне показалось, что он смотрит на меня рассеянно. Его темные глаза не горели волнением, а были заняты никому, кроме него самого, не интересными мыслями. Но я-то знала, что за этим скрывается. Он и на уроках как бы отсутствовал, где-то пропадал вдали от класса, но стоило его неожиданно спросить, и он отвечал впопад; оказывается слушал урок с завидным вниманием. Я долго не могла понять его. Он представлялся отчужденным, недоверчивым. Я одно время думала, что он недолюбливает меня.

Но однажды поздним вечером в дом постучали. Открыла дверь. На пороге стоял Миша. Пальто нараспашку, кепка накинута на глаза. На ремне через плечо кожаный футляр. Я решила, что он пришел с ружьем.

— Что тебе, Миша?— спросила я.
Он стоял на пороге, не решаясь войти в дом.
— У тебя что-нибудь случилось?
Он продолжал стоять молча.
— Почему ты не идешь домой?
— У меня нет дома,— ответил Миша.
— Как нет дома? Куда он делся? Может быть, ты поссорился с отцом и тебя...

Он перехватил мою мысль и сказал:

— Меня никто не прогонял из дома. Я сам ушел. Потому что у меня теперь нет дома.

— Подумай об отце,— сказала я.

— Я думаю о маме. Я пять лет живу без мамы и все думаю о ней. Мне кажется, она уехала далеко-далеко, но когда-нибудь вернется... Она вернется, а на ее постели спит мачеха.

— Миша!

— Отец сказал, чтоб я называл мачеху мамой... Она вернется, а в доме другая мама.

Тогда я сказала:

— Оставайся у меня.

Он первый раз в жизни посмотрел на меня дружелюбно.

— Я пробуду недолго. Скоро уйду. Мне страшно одному дома.

— Как же ты будешь жить?— спросила я его.

И тут он снял с плеч кожаный чехол и достал оттуда не ружье, а скрипку.

Я очень удивилась: не знала, что он играет на скрипке.

— Буду играть на свадьбах... Мой дедушка был бродячим скрипачом. Он говорил: «Пока поет скрипка, с голоду не помрем!» С этой скрипкой я не пропаду, как вы думаете?

— Ты будешь жить у меня,— твердо сказала я.

Он покачал головой, поднял старенькую скрипку и прижался к ней щекой, как прижимаются к плечу матери. Потом закрыл глаза и заиграл.

Я заметила, что мой сын проснулся и стоит в дверях. Он никогда особенно не любил музыку. Но сейчас он слушал внимательно, как слушают интересный рассказ.

Миша вдруг перестал играть и не то мне, не то самому себе тихо сказал:

— Когда ее не было, у меня был отец. А теперь ни отца, ни матери... Дом сгорел... Остались одни головешки.

В этой маленькой героической шеренге, застывшей у кирпичной стены в ожидании своего последнего часа, мой сын был крайним справа. Он по привычке опустил голову и смотрел исподлобья куда-то в сторону. Я почувствовала — он боялся встретиться со мной взглядом, чтобы не проявить слабость. Его веки слегка вздрагивали. Глаза смотрели виновато. Перед кем он чувствовал вину? Передо мной или перед самим собой? Но, может быть, никакой вины в его взгляде не было и то, что я принимала за вину, было печалью расставания?

Он знал, что сейчас его жизнь находится в моих руках. Стоит мне кивнуть — «вот мой сын», — и не будет кирпичной стены, не будет фашистов с автоматами, не будет удушающего ожидания смерти.

— Госпожа учительница, пора,— сказал длинный Рехт.— Вы задерживаете казнь... Может быть, здесь нет вашего сына?

Я вздрогнула. По сердцу рванула мысль: я нахожусь на грани страшного предательства. Спасая сына, я одновременно предаю его. Предаю его, и Кирюшу, и отчаянного Дубка, и осиротевшего Мишу. Умирать всегда тяжело. Но куда тяжелее расставаться с жизнью, если тебя предал близкий человек...

Я вдруг почувствовала, что все четверо одинаково дороги мне — близость смерти уравнила их в моем сердце.

— Госпожа учительница!.. Берите любого и уходите. Слышите?

Слова Рехта, как пули, просвистели над моим ухом. Я взглянула на сына. Кирпичная стена показалась мне сложенной из детских кубиков. А его я увидела совсем маленьким. В кровати с сеточкой. Его мучила корь. Он метался в жару. Но почему-то не тянулся ко мне, а забился в уголок, чтобы там перестрадать в гордом одиночестве. Он и сейчас не звал меня на помощь.

Длинный Рехт положил мне руку на плечо. Я повернулась и сказала:

— Они все мои сыновья.

И сразу пришло в движение безжалостное время, которое я на несколько минут задержала: зазвучали команды, послышался лязг оружия, захрустел под сапогами гравий, тонко засвистела какая-то пичуга. В последний раз подняла глаза. Все четверо смотрели на меня. Все четверо были спокойны.

Больше я ничего не видела и не слышала. Когда же мир вернулся ко мне, впереди алела кирпичная стена. Но мальчиков уже не было. Как будто все кончилось и они ушли.

И тогда я бросилась к своему сыну. Смерть дала мне запоздалое право открыть врагам, кто мой сын.

Два солдата подняли меня с земли, и я увидела Мейера. Он стоял рядом и широко раскрытыми, непонимающими глазами смотрел на меня.

— Госпожа учительница! Что вы наделали! Вы убили своего сына! Это выше моего понимания.

Я ничего не сказала ему. Побрела прочь.

Я встретила с комендантом нашего небольшого города Мейером спустя год. Его привели ко мне в партизанский отряд. Я сама допрашивала его. Увидев меня, он заволновался — то ли испугался, то ли обрадовался нашей встрече.

— Госпожа учительница! Здравствуйте! Какая удивительная судьба, госпожа учительница... Я могу надеяться, что вы помните, как я отнесся к вашей просьбе о помиловании.

Я смотрела на него, а видела кирпичную стену и моих мальчиков.

— Ведь вы сами отказались,— пробормотал комендант,— я пленный, я не смею задавать вопросы, но я прошу разрешения задать вам один вопрос.

Я кивнула головой.

— Почему вы отказались от помилования? Может быть, ваш сын отказался?

Стена по-прежнему стояла передо мной, но мальчиков уже не было.

Я силилась собраться с мыслями, взять себя в руки. Этот немец сорвал бинт с моей незажившей раны. Но я не могла допустить, чтобы он почувствовал мою слабость.

— Вы знаете, какая между нами разница?— через силу спросила я.

— Яволь! Конечно!

Он торопился с ответом. Я покачала головой.

— Нет, вы не знаете. Мы защищаем родную землю и проливаем тяжелую кровь. Для матери нет тяжелее крови, чем кровь сына. Я пролила ее...

У моего сына глаза серые, с едва заметными зелеными крапинками. В ясный летний день от травы и листьев глаза становятся зелеными... Мое горе — как незаживающая рана — я чувствую ее каждый день. Рядом со мной кирпичная стена и чет-

веро мальчиков. Мой сын в шеренге крайний справа. Его глаза смотрят на меня, и я всматриваюсь в них, силясь прочесть, что застыло в них в тот последний миг: недоумение или понимание, упрек или прощение?

ЛЯЛЯ ПУЛЯ

Сперва небо качалось и его сносило то влево, то вправо. Потом оно рухнуло и придавило меня так, что стало трудно дышать. Оно было серым, пасмурным и кололо мне шею. От него пахло мокрым валенком. Когда наступило просветление, небо оказалось шинелью, которой санитары прикрыли меня от пронизывающего ветра.

Позднее небо поднялось, но было таким невысоким, что до него можно было дотянуться рукой. Только руку я не мог поднять. Под низким небом горел фонарь «летучая мышь», и я теперь уже не помню, чем тогда казался мне фонарь под пологом палатки медсанбата — луной или солнцем.

Сердце вдруг похолодело и стало сжиматься. Оно уменьшалось, словно вырвалось из груди и помчалось куда-то вдаль.

Я вообще перестал чувствовать сердце. В глазах поплыл туман. Я жадно глотал воздух — пил его как воду.

И тут передо мной возникли два удивительно знакомых глаза. Они не мигая смотрели на меня в упор — холодные, светло-серые, почти бесцветные, словно радужка состояла из кристаллов льда. Я потянулся к ним, но остался неподвижен. Только губы дрогнули и с них сорвалось имя: Ляля Пуля.

И неожиданно запахло яблоками.

В нашем дворе всегда пахло яблоками. И летом, и осенью, и когда выпадал снег.

Свежий, бодрящий аромат встречал уже у ворот. И обыкновенный серый, мощный булыжниками двор от этого запаха становился торжественным и таинственным. Яблочный дух вырывался из низких подвальных окон и возносился до пятого этажа. Яблоками в нашем дворе пахло все, даже ветер, закручивавший водоворотик пыли. Даже снег.

Дело в том, что в подвале нашего дома размещался склад «плодоовощ». Осенью двор становился тесным от подвод и грузовиков, привозивших свежую партию яблок. Мы, ребята, конечно, были первыми помощниками при разгрузке яблок. Мы сопровождали грузчиков, как чайки сопровождают судно в надежде поживиться отбросами камбуза.

Иногда из ящика, влитого в плечо грузчика, выскакивало яблоко и, прыгая по булыжникам, откатывалось в сторону. Это яблоко было нашей законной добычей. И никто не оспаривал нашего права. Если же — случалось такое счастье! — ящик падал и яблоки, как от взрыва, разлетались во все стороны, то тут наших прав на добычу не было, и начиналось пиратство. Грузчики собирали яблоки, а мы только ухитрялись урвать у них из-под рук, выхватить яблоко да еще успеть отбежать в зону безопасности. Это был самый настоящий бой между нами и «плодоовощью».

Случалось, мы просто воровали яблоки. Слово «воровали» не совсем подходило для этого случая, так как мы были убеждены, что не делаем ничего предосудительного, просто играем в азартную игру. Но «плодоовощ» называл вещи своими именами.

Временами мы люто враждовали с «плодоовощью». Но вот проходили осенние дожди, выпадал снег, ударяли морозы, и вражда затихала: нас приглашали перебирать яблоки. Перед нами распахивались недоступные двери «плодоовоща», и мы

шли между рядами ящиков как по яблоневому саду. Мы работали усердно и, опьяненные ароматом, переносились в лето и уже не могли себе представить, что всего два лестничных пролета отделяют нас от зимы.

Должен признаться, что яблоки мы не очень-то любили. От них мы получали только острое удовольствие доставшейся с риском добычи. В жизни каждого мальчишки обязательно должна быть хоть одна запретная яблоня в чужом саду, к которой крадутся, преодолевая страх быть побитым, а затем торопливо, с оглядкой срывают крепкие, с остатками завязи зеленые яблоки, от которых сводит рот. Но откуда в центре большого города взяться яблоне! «Плодоовощ» и был нашей яблоней.

Мы были большими знатоками яблок. Антоновку безошибочно отличали от «аниса полосатого», а «пепин шафрановый» — от «апорта». Были нам знакомы и такие редкие сорта, как «ранет орлеанский», «кандиль синап» и «астраханское красное».

Когда же мы с гордостью приносили яблочные трофеи домой, нас прогоняли и велели вернуть законную добычу «плодоовощи». Как бы не так! Ни у одного из нас не поднималась рука на такой добродетельный поступок. И начиналась объедаловка. Яблоки трескали у нас на зубах, губы блестели от сока...

До сих пор запах яблок возвращает меня в детство.

Но этот рассказ не о яблоках, а о Ляле Пуле.

Ляля Пуля жил в бывшем каретном сарае.

У нас во дворе была вереница каретных сараев. Бабушка рассказывала, что в «мирное время», то есть до революции, в длинном одноэтажном здании с облупившейся желтой краской за высокими воротами с фигурными коваными петлями и в самом деле во времена оные стояли кареты, потом их сменили легкие лакированные коляски на тонких дрожащих рессорах, фазтоны с поднимающимся верхом и приземистые сани с медвежьей полостью. Внутри на стенах каретных сараев висели дуги, подбитые войлоком хомуты, выездная сбруя с бляхами, похожая на кавказский ремешок. А несколько сараев были переделаны в конюшни — там стояли лошади. Потом все это куда-то делось, исчезло, отнесло временем. Остался один Орлик. И тяжелая телега на «дутиках» — резиновых шинах.

Орлик был ломовой лошадыо, или, как его еще называли, битюгом. У него была сильная короткая шея с седой привой. И тяжелые, утолщенные книзу ноги. Когда Орлик шел по дво-

ру, каждый его шаг, как удар молота, отзывался на булыжниках лязгом подков.

Утром мы просыпались от железных шагов коняги. Мы подходили к окну, и перед нашим взором предстал огромный мускулистый конь, который легко вез за собой телегу и в такт шагам покачивал головой, словно поддакивал своим мыслям.

Мы кормили Орлика хлебом, присыпанным солью. И он не спеша, с достоинством теплыми замшевыми губами брал из наших рук угощение и принимался жевать, водя челюстями из стороны в сторону.

У него были желтые, стертые зубы. Говорили, что по этим зубам можно определить его возраст. Орлику было за двадцать лет...

Хозяином Орлика был отец Ляли Пули — ломовой извозчик, ломовик. Или, как иногда говорили в наше время, работник грузового транспорта.

Ляля Пуля от рождения был немым. Сперва думали, что речь запаздывает и со временем мальчик заговорит. Но прошел год, второй, третий... Из уст мальчика вырывались только нечленораздельные звуки, похожие на мычание. Он все понимал, ему все хотелось выразить, но природа навсегда лишила его бесценного дара речи. Среди невнятных звуков и междометий, которые мальчику удавалось выдавить из себя, было два односложных созвучия — «ля-ля» и «пу-ля». Мальчик тыкал себя пальцем в грудь и произносил свои два единственных слова — «ляля» и «пуля». В конце концов его так и стали называть — Ляля Пуля.

А его настоящее имя забылось.

Когда я вспоминаю Лялю Пулю, то почти физически ощущаю запах яблок. И передо мной возникает его угловатая, чуть сутулая фигура. И, как далекое эхо, доносятся голоса грузчиков:

— Эй, Ляля Пуля, попадешься — уши поотрываем!

Но никто не отрывал ему уши. То ли жалели его, то ли он был таким неуловимым.

У него были холодные бесцветные глаза, а когда он смотрел на нас, не в силах выразить словами свою мысль, во взгляде появлялось что-то загадочное, словно он умышленно молчал, скрывая свою тайну.

Он ходил, прижимаясь к стене, тихой кошачьей походкой. А от преследования уходил большими пружинистыми прыжками.

ми. У него были холодные руки и цепкие пальцы. Он был диковатым, и потому его считали злым. Но, наверное, трудно быть добрым, если весь окружающий мир не понимает тебя, насмехается, сторонится...

Ребята дразнили Лялю Пулю. И я не был исключением, — движимый какой-то злой радостью, я вместе со всеми бежал следом за ним и орал:

— Ляля Пуля! Ляля Пуля!

Как должно быть тяжело, когда тебя дразнят твоим же именем!

У Ляли Пули не было друзей — никто не понимал его, никто не хотел дружить с немым. Зато с малышами он быстро находил свой особый бессловесный язык. Играл с ними, возился. Он понимал их, они понимали его.

Из-за своей вынужденной замкнутости Ляля Пуля казался нам примитивным, недоразвитым. Нашего воображения не хватало, чтобы представить себе сложную и, как потом оказалось, прекрасную жизнь, которая скрывалась в нем и не находила выхода.

С годами в нем накопилось множество произнесенных слов. Слова распирали грудь. Мешали дышать. Ему было больно от этих слов. И на лице рано появились две страдальческие морщинки.

Отец Ляли Пули — ломовик, или работник гужевого транспорта, — не был немым. Но он от природы был мрачен и молчалив. Может быть, немота сына так резко повлияла на него? А у матери был звонкий голос, и он звучал оскорбительно громко в обществе немого и немногословного.

С родителями Ляля Пуля объяснялся жестами и мимикой, а нам казалось, что он не разговаривает, а кривляется.

Мы не понимали одиночества Ляли Пули, не замечали, как он втайне тянется к нам. Мы были в том жестоком возрасте, когда люди не чувствуют чужой боли и не откликаются на чужую беду. У некоторых из нас с годами эта жестокость прошла — мы переболели ею, как корью. А некоторые сохранили ее на всю жизнь.

Но прежде чем рассказать историю жизни Ляли Пули, я должен познакомить вас с еще двумя жителями нашего двора.

В далекие времена моего довоенного детства было принято сокращать и объединять слова. Тогда на свет появилось множество новых слов и словечек, из которых можно было соста-

вить целый словарь: зам, зав, жэк, нарпит, учком, плодоовощ. В этом ряду стояло и рожденное в нашем дворе слово «завбань». Оно возникло из соединения двух слов — заведующего и бани. Завбань — это было имя бывшего заведующего банями. Он жил во втором подъезде, и нам казалось, что от него всегда пахло мылом и вениками. Лицо у Завбаня было розовым, словно он и в самом деле только что вышел из парного отделения, толстая нижняя губа отвисла, словно он держал во рту бублик. Одежда состояла из брюк, заправленных в высокие сапоги, и длинной рубахи-«толстовки», подпоясанной тонким кавказским ремешком, похожим на сбрую Орлика с серебряными бляхами и насечкой.

Завбань относился к той породе людей, которые считают, что им до всего есть дело и что они призваны всюду и везде наводить порядок. Его и с работы уволили за то, что он принялся «наводить порядок» в женском отделении своих бань. Однажды возмущенные его появлением женщины облили Завбаня из ушатов горячей водой и написали жалобу.

Оставшись без работы, Завбань добровольно принялся наводить порядок у нас во дворе. Он сам себя назначил стражем «плодоовощи». Зорко следил за каждым упавшим яблоком и, как коршун, набрасывался на каждого, кто протягивал к добыче руку.

Мы дружно ненавидели Завбаня. И дали ему кличку «старый веник».

Я рассказал о Завбане, потому что он сыграл немалую роль в жизни Ляли Пули.

Но главная роль принадлежала Симе. Сима училась не в обычной школе, а в балетной. Но в остальном была обыкновенной девчонкой: охотилась с нами за яблоками, дразнила Лялю Пулю и ненавидела Завбаня. А то, что она ходила в балетную школу и что вместо портфеля у нее был балетный чемоданчик, не имело никакого значения.

Пусть будет балет — был бы человек хороший!

А теперь я расскажу о «белом розмарине». О яблоке с нежной кожей и тонким незнакомым ароматом. Такие яблоки растут только в Крыму, созревают под южным солнцем. И когда снимают урожай, каждый плод аккуратно облачают в шуршащую папиросную бумагу, чтобы не повредить бархатистую кожу. Когда в «плодоовощ» привозили розмарин, это было событием. Даже ящики у «белого розмарина» были необычными: стру-

ганы, с яркими наклейками, на которых изображались синее теплое море, белоголовые горы и крупные золотые плоды. От ящиков шел тонкий захватывающий аромат. Стоя в стороне, мы внимательно наблюдали, как на плечах грузчиков таинственные ящики уплывали в темные, дышащие холодом недра подвала. И не надеялись на удачу. Но когда не надеешься, тогда-то она и приходит!

В день, который прочно остался в моей памяти, огромный рябой детина в рваной лиловой майке неожиданно споткнулся. Ящик легко соскользнул с крутого загорелого плеча и, упав на булыжники, разбился вдребезги. Яблоки запрыгали и покатились по двору.

Это действительно была удача! Пока растерянный грузчик чертыхался и решал, что делать, мы как выстреленные бросились к добыче. Он был один, нас — много. И среди нас был Ляля Пуля. Ловко подхватывая катящиеся яблоки, немой набивал ими карманы, клал за пазуху. Гибкий, ловкий, изворотливый, он давал нам сто очков вперед!

Когда грузчик очухался, двор был уже пуст. Мы убегали, унося с собой редкую добычу — «белый розмарин» в папиросной бумажке...

И тут из подъезда выкатился Завбань. Его глаза воинственно заблестели, и он сразу смекнул, что всех нас не переловишь, — он выбрал своей жертвой Лялю Пулю. Завбань шустро побежал за немой похитителем яблок. Его живот смешно запрыгал под рубашкой, и Завбань на бегу поддерживал его рукой, словно боялся потерять.

Никогда в жизни Завбань не догнал бы Лялю Пулю.

Но тут произошло нечто совершенно неожиданное. Ляля Пуля остановился. Навстречу ему шла Сима. Худенькая, вытянутая, с покатыми плечами и длинной шеей, на которой сидела маленькая гордая голова. Пухлые губы, сросшиеся на переносице золотистые брови, большие серые глаза. Походка у нее была необычно плавная, и, делая шаг, она изящно, по-балетному разворачивала ступню, словно собиралась танцевать.

Для нас и для Ляли Пули все это было привычным — и Симина походка, и Симины глаза. Но сейчас, поравнявшись с Симой, он вдруг забыл про погоню, остановился и протянул девочке «розмарин» в папиросной бумажке.

Сима тоже остановилась и удивлению посмотрела на Лялю Пулю,

И в это мгновение, пыхтя и отдуваясь, подоспел Завбань и розовой рукой крепко вцепился в плечо Ляле Пуле.

Ляля Пуля не шевельнулся, не попытался вырваться, а продолжал стоять с яблоком в протянутой руке. Он смотрел на Симу, словно видел ее впервые. Словно это вообще была не Сима, а новая, неизвестно откуда взявшаяся девочка. Поведение Ляли Пули так удивило Симу, что она растерялась: не уходила, но и яблоко не брала. Даже Завбань опешил, но тут же пришел в себя и закричал:

— Я тье покажу! Я тье покажу! Я тье дам воровать... казенное добро...

Слово «казенное» было для него самым значительным.

Ляля Пуля не слышал его скрипучего голоса и не чувствовал его клешни на своем плече. Он смотрел на Симу.

Тогда Завбань ударил его по шее. Ляля Пуля только втянул голову в плечи и поежился, но продолжал стоять. Он смотрел на Симу.

— Что же ты не бежишь? — спросила девочка.

Ляля Пуля, естественно, не ответил ей. Он не мог ответить, потому что был немой. Но даже если бы он и владел даром речи, то в эту минуту промолчал бы, потому что очутился в ином мире, где своя боль, своя радость, так непохожие на боль и радость нашего двора.

Тогда Сима сощурила глаза и крикнула Завбаню:

— Отпусти его, старый веник!

Со всеми вместе она всегда дразнила Лялю Пулю, а тут вступилась за него.

Завбань закусил бублик — нижнюю губу и тонким голоском ответил Симе:

— Ты еще вспомнишь... веник! Я тье еще покажу веник!

И он еще раз ударил мальчишку.

Сима с презрением посмотрела в глаза Ляле Пуле и крикнула, как бы приказала:

— Беги!

И он не мог не выполнить ее приказа, хотя еще вчера ему было решительно наплевать на то, что скажет Сима. Но то было вчера.

Ляля Пуля резко повернул голову и по-звериному впился зубами в розовую руку Завбаня. Клешня тут же разжалась, и на весь двор прозвучал вопль «старого веника». Ляля Пуля повернулся и пошел прочь.

А Завбань, прижимая к животу кровоточащую руку, кричал ему вслед:

— Хулиган! Гопник! Шпана!

Ляля Пуля шел по булыжному двору с яблоком, зажатым в руке, поглощенный своим удивительным открытием, которое он сделал мгновение тому назад.

В тот день никто из нас не находил объяснения странному поведению Ляли Пули. А расспрашивать его было бесполезно.

На другой день Завбань появился во дворе с перевязанной рукой. Он держал раненую руку на животе, чтобы все видели, что он ранен. Он даже гордился своей раной и на расспросы отвечал коротко, словно произносил лозунг:

— Пострадал в борьбе с расхитителем казенного имущества!

А встречая Лялю Пулю, издалека грозил ему кулаком и выкрикивал:

— Ты у меня еще сядешь... Я тье под следствие подведу... членовредитель...

Но немой уже не слышал угроз Завбаня.

С того дня как в «плодоовощ» привезли «белый розмарин», с ним начали происходить перемены. Он замкнулся и стал равнодушен к нашим дворовым забавам.

Напрасно Завбань пытался поймать похитителя яблок на месте преступления и привести его в отделение — яблоки совсем перестали интересовать Лялю Пулю. Он равнодушно проходил мимо машин и подвод, груженных яблоками, и привычный запах уже не пробуждал в нем охотничьего инстинкта.

Месь Завбаня откладывалась.

Ляля Пуля как бы повзрослел, поднялся на ступеньку над нами и казался таинственным и недоступным. Часами просиживал он на скамейке перед каретным сараем, не сводя глаз с арки ворот, разглядывая входящих и выходящих.

Что стало с Лялей Пулей? Может быть, заболел? Мы не находили ответа. А потом вообще перестали обращать на него внимание.

А он не просто сидел на скамейке, не сводя глаз с подворотни. Он ждал появления Симы. И стоило ей возникнуть в полукруглой арке, как он срывался с места и спешил ей навстречу, словно хотел сообщить ей нечто очень важное. Он громыхал грубыми ботинками «на резиновом ходу», а она шла легкой походкой, словно плыла над лобастыми булыжниками нашего двора.

И в руке у нее покачивался маленький балетный чемоданчик, в котором лежали туфельки-пуанты и трико.

Ляля Пуля подбегал к ней и вставал у нее на пути.

— Здравствуй! — говорила Сима.

Ляля Пуля молчал. Он смотрел на девочку, и ледяные кристаллики его радужек начинали теплеть, и в них появлялся цвет пасмурного неба или серебристой изнанки листьев тополя.

Сима чувствовала, что Ляля Пуля что-то хочет сказать ей, и некоторое время выжидательно стояла на месте, забыв, что перед ней немой. Но, не дождавшись никакого знака, уходила, едва касаясь земли маленькими аккуратными ножками.

У нашего двора — всевидящие глаза. Они очень скоро заметили причину Ляли Пулиных перемен. Ребята стали посмеиваться над немой, дразнить его. Тили-тили тесто... Но Ляля Пуля не обращал внимания на насмешки товарищей. Из него он как бы превратился в глухого. Слова пролетали мимо, едкие шутки отскакивали от него, не причиняя вреда.

Он появлялся во дворе, но на самом деле как бы переносился в иной, удивительный мир. Он смотрел на нас и не видел своих товарищей. А наша Сима, наша обыкновенная Сима претерпела в его сознании такие изменения, что мы бы не узнали ее.

Как раз в это время у Ляли Пули появилась синяя тетрадка.

Я хорошо помню ее. На обложке был изображен вещий Олег, который прощался со своим конем, и кудесник, «любимец богов», предупреждающий князя, что он погибнет от коня своего. В таких тетрадках мы решали задачи, писали диктанты. Но у его тетрадки было совсем иное назначение.

«Я не помню, какое сегодня число. Не знаю, какой день. Впрочем, сейчас ночь, а ночь не имеет имени... Карандаш ломается. Фонарик еле светит — батарейка подходит к концу. В доме все спят и как бы отсутствуют — никого нет. Спящие люди — временно лишённые разума, души. У них ничего не болит. Ничто их не беспокоит. Разве что сны? Но сны как страницы странных книг, которые кончаются утром и уже никогда в жизни не повторяются...

Я не сплю. Мне кажется, что я уже никогда не буду спать. Не могу, не сумею заснуть.

За окном идет дождь. Я не вижу его, только слышу, будто кто-то бежит трусцой. Шумят листья. Тихо подбарабанивают

крыши. Полощут горло оцинкованные водосточные трубы. Где-то очень далеко тоненько, как новорожденный, пискнул паровоз и захлебнулся.

Что со мной? Может быть, это болезнь, странная болезнь, не имеющая названия? Но почему тогда ноющая боль вдруг сменяется радостью, словно сердце до боли сжимается в комок, а затем распускается и становится необъятным.

Я жду наступления дня, чтобы увидеть ее».

Ляля Пуля как тень следовал за Симой — тихая, безмолвная тень. Он встречал ее во дворе, отыскивал ее в городе, оказывался рядом, когда она стояла в очереди за хлебом.

Сперва Сима не обращала на это внимания, но постепенно настойчивость вездесущего Ляли Пули стала раздражать ее. Что ему надо от нее? Пусть он отстанет! А тут еще ребята начали посмеиваться. Тили-тили. Девочка избегала немного, пряталась от него.

Так они и играли в прятки: Сима вечно пряталась, а Ляля Пуля бессменно водил.

И вот однажды Ляля Пуля появился в хореографическом училище.

Он проскользнул в парадный ход, так что старушка вахтер и не заметила, и легко вбежал по лестнице на второй этаж. Он шел беззвучной походкой по длинным коридорам и заглядывал в классы, откуда доносилась музыка. Никто не обращал на него внимания, никто ни о чем не спрашивал его, никто не знал, что он немой. Вокруг все было неведомым и жутковатым... Пробежали девчонки в белых крахмальных пачках. Они окружили его, обволокли шуршащим облачком, и вместе с ними Ляля Пуля попал на третий этаж. И снова заглядывал в классы, где был мир музыки и движений — мир понятный ему, мир, в котором он мог существовать.

В одном из классов с большой зеркальной стеной он увидел Симу. На ней было черное трико и розовые туфельки, а волосы были стянуты бархатной повязкой. Ляля Пуля как увидел ее, так и замер. Держась за палку станка, Сима отводила в сторону свободную руку, и рука замирала, как ветка прекрасного деревца, потом она плавно выгибалась, поднимала ногу и замирала на носочке розовой туфельки. И Ляле Пуле казалось, что если она разожмет руку и отпустит палку, то полетит!

И вдруг преподавательница, высокая женщина с тонкими

бровями, заметила незнакомца. Она хлопнула в ладоши. Музыка оборвалась. Полет кончился.

— Что ты здесь делаешь? — спросила она незваного гостя. Ляля Пуля, естественно, молчал.

— Я тебя спрашиваю, — строго повторила учительница танцев. — Что тебе надо?

Ляля Пуля молчал, только губы у него задрожали, словно пытались вылепить слово.

— Девочки, кто знает его?

Некоторое время в классе было тихо. Потом Сима неохотно сказала:

— Он немой.

— Сима, ты его знаешь? Он пришел к тебе? — удивилась учительница.

— Он живет в нашем доме.

Сима покраснела и отвернулась. Ей стало стыдно, что этот немой, калека имеет к ней отношение. Она зашептала подругам что-то оправдательное.

— Странно! — Тонкие брови учительницы танцев поднялись вверх. — Странно! Тогда пусть он уходит отсюда. Здесь нельзя посторонним...

Нет, Ляля Пуля не был посторонним. Как зачарованный стоял он на месте, не замечая ни тонкобровый, ни девочек с гладкими волосами, ни зеркал. Он видел только Симу. Она смотрела на него из зазеркалья. И там в сверкающем мире ей не было стыдно, что к ней в училище пришел немой.

Потом Сима повернулась — вышла из зазеркалья — и недовольно крикнула:

— Иди отсюда!

Девочки тихо засмеялись. А он, повинувшись приказу Симы, повернулся и пошел, как, повинувшись воле дрессировщика, идет зверь — дикий, но покоренный.

«Почему в детстве меня не отвели в балетную школу? Может быть, я смог бы. Я бы наверняка смог. Разбился в лепешку, а смог бы. Ведь если человек нем, ему надо найти дело, пригодное для немых, где не надо говорить, где можно себя выразить без слов.

Когда хромой входит в воду — хромота пропадает. Когда немой танцует — разве кому-нибудь важно, что он нем? Балет — это не только искусство. Это язык без слов. Печаль и радость,

любовь и ненависть — нет на свете такого чувства, которое нельзя было бы выразить танцем. Только в танце можно по-настоящему забыть о своей немоте.

А может быть, еще не поздно?

Поздно.

Уже пять лет как она уходит и возвращается со своим ба-летным чемоданчиком в руке. Пять лет — не догонишь!

Сегодня я был там. Я видел ее в зале с зеркальными стенами. Я видел ее глаза и ее движения. Это нечто особое, прекрасное и таинственное. Я раньше и не подозревал, что движения могут так выражать человека. Она была в костюме, напоминающем купальник. Он обтягивал и как бы обнажал ее тело. И когда я смотрел на нее, то чувствовал, как кровь приливает к моему лицу, словно я видел больше, чем дозволено.

Ее тело пело. Это была песня без звуков и потому так хорошо понятная мне. Пели руки, ноги, шея, плечи, голова. Она как бы не танцевала, а парила в невесомости или двигалась под водой, где тело обретает легкость.

Я люблю ее сильнее. А для нее я остался диковатым, немым парнем».

Никто в нашем дворе не знал о приходе Ляли Пули в хореографическое училище.

Только два человека знали: Сима и сам Ляля Пуля. И когда однажды вечером они оказались лицом к лицу, Сима сказала:

— Кто тебя звал? Зачем ты пришел в училище? Ты позоришь меня! Слышишь! Я не хочу тебя видеть. Нигде! Никогда! Ты мне... ты мне противен, Ляля Пуля!

Он выслушал ее терпеливо и покорно. Казалось, он не обращал внимания на смысл ее обидных слов, а слушал только звук ее голоса, слушал ее голос, как слушают пение или музыку.

И только потом, лежа на своей жесткой койке, ночью, Ляля Пуля остро ощутил смысл Симиных слов. Она же ничего не понимает! Ничего не чувствует! Она считает его обыкновенным приставалой, одним из тех пустых, незрелых подростков, которые прикрывают свою никчемность дерзостью и злым озорством.

Он хотел обвинить ее, но винил себя. Корил себя за никчемность. Он ничего не достиг, ничего собой не представляет. Она не хочет его видеть. Может быть, она по-своему права. Надо что-то делать! Надо что-то делать! Надо что-то совершить!

«В Калуге живет одержимый старик, который изобретает ракеты и собирается полететь на них в небо. Туда не летают самолеты, даже аэростат не может подняться на такую высоту. Там человек теряет вес и может плавать как в воде, прямо и вверх ногами. Но главное — там безмолвие. И там немой становится обычным человеком. Не с кем разговаривать, и, даже если заговоришь, никто не услышит.

Раньше я мечтал стать артистом и сниматься в кино. В кино тоже нет звуков, только кто-то в темноте бренчит на рояле. Но теперь кино стало звуковым. А там, где надо говорить, для меня закрываются двери...

Лететь в космос, наверное, очень страшно. Еще ни один человек не летал туда... Человек может не выдержать... Может сгореть вместе с ракетой... Может улететь и не вернуться на Землю... Но тот, кто рискнет, отважится, будет героем. Даже если он немой. И тогда она перестанет смеяться. И простит мне, что я все время молчу...

Если человек молчит, он должен найти другое средство, чтобы выразить, что в нем происходит, что он чувствует... А так немой кажется просто чурбаном... Ненавижу немых!.. Ненавижу себя.

Многие называют калужского старика безумцем, и почти никто из взрослых не верит ему... Но я верю... И когда стану взрослым, тоже буду верить.

Бросить все и поехать в Калугу! Старик взял бы меня подручным. А потом, может быть... может быть, послал меня. Потому что он старый, ему трудно лететь самому.

А как же она?»

Я навсегда запомнил эту ночь. Маленькую серебристую луну, полосы облаков, похожие на прибойные волны. И шум листвы, как шум моря. И голос трубы, среди ночи поднявший на ноги весь дом.

Когда человек лишен дара речи, он совершает поступки. Поступки говорят за него, они и есть его язык. Не будь Ляля Пуля немой, может быть, не было бы этой ночи, о которой одни вспоминают с руганью, другие — с восторгом. Но Лялю Пулю не интересовали ни те ни другие. Он думал о Симе.

Ночью он вошел в конюшню, и в лицо пахло теплым духом, сухой соломой, сыромятными ремнями — тем домашним,

конюшенным ароматом, который устанавливается в жилье лошади.

Орлик спал стоя. Неподвижно. Только иногда перебирал во сне ногами. Фыркал и снова затихал. Когда Ляля Пуля переступил порог бывшего каретного сарая, уши коня дрогнули и насторожились. Ляля Пуля подошел к конской морде и протянул краюху хлеба, как инеем, присыпанную солью. Конь тяжело вздохнул и мотнул головой. Ему не хотелось расставаться со сном, но запах хлеба приятно защекотал ноздри, и он потянулся к угощению, тычась в темноте мягкими губами в руку Ляли Пули.

А когда конь съел хлеб, Ляля Пуля вывел его из конюшни, ловко забрался на спину лошади и легонько ударил пятками по круглым бокам коня, как бы скомандовал:

«Но, Орлик! Но-о-о, пошел!»

В тишине медленно застучали железные удары лошадиного шага. Когда Орлик вышел на середину двора, Ляля Пуля оставил его. И тут в его руке блеснула труба. Он поднял ее, словно нацелился в небо, и затрубил.

Он трубил как архангел, собирающий на суд всех грешников мира. Люди просыпались, не понимая, что происходит, бросались к окнам. И замирали в недоумении.

Посреди двора, залитый лунным светом, стоял серебряный конь. Он был большим, с густой челкой, наползающей на глаза, и с заплетенной косичками гривой. Большие тяжелые ноги книзу заросли шерстью и от этого казались еще тяжелее.

На огромном коне-тяжеловесе сидел хрупкий, большеголовый Ляля Пуля. На спине лошади он выглядел совсем маленьким.

И тем, кого его труба подняла с постели и кто застыл у окон, это казалось видением, продолжением какого-то фантастического сна.

Ночной сигнал разбудил Симу, и она босиком, в длинной белой рубашке подошла к окну, чтобы увидеть возмутителя ночного спокойствия. И увидела Лялю Пулю. Сперва она недовольно сдвинула брови и хотела уже вернуться в теплую постель, но вдруг со всей ясностью поняла, что это ради нее он вывел ночью коня и заиграл на трубе. Играл он плохо, голос трубы хрипел, срывался, но это не имело значения. Симино сердце вдруг застучало от гордости. И тогда она выглянула из окна

и помахала рукой Ляле Пуле. Прекрасная дама приветствовала своего рыцаря. И рыцарь почувствовал себя счастливым.

Это мгновенье, как и всякое прекрасное мгновенье, длилось недолго.

Оно длилось до тех пор, пока разбуженные люди не пришли в себя и не осознали, что это не сон, а дерзкая, из ряда вон выходящая реальность. И вместо серебряного коня и рыцаря увидели огромного ломового битюга и дикого немого мальчишку, который из хулиганства вывел коня из конюшни и среди ночи затрубил на весь двор.

И тогда весь дом зарычал, поднял крик:

— Безобразие! Хулиганство! Распущенности!

И по лестнице бежал Завбань, счастливый тем, что оказался бдительным и не проспал это ночное безобразие.

Весь следующий день Ляля Пуля ждал появления Симы, но она не выходила во двор, даже не пробегала от подъезда до ворот. Напрасно немой не спускал глаз с подворотни. В полукружье ворот появлялись и исчезали другие люди, а Симы не было. Может быть, она заболела или с ней что-нибудь стряслось?

И новая дерзкая мысль родилась в сознании немого — Сима жила на третьем этаже, и он решил взглянуть в ее окно. Он полез на дерево. Ловкий и гибкий, как обезьяна, он хватался за ветки, прижимался к стволу, и подтягивался, и поднимался все выше, пока не достиг третьего этажа. Тут он замер. Листва скрыла его. Он слился с ветками, со стволом и как бы стал частью дерева.

Затаив дыхание, Ляля Пуля посмотрел в Симино окно.

Она стояла перед большим зеркалом и делала свои удивительные балетные движения. На ней были легкие голубые трусики и... больше ничего. Она стояла спиной к невидимому наблюдателю. Ее тело было в движении: нога отведена назад, спина выгнулась, головка откинулась. Потом новое движение, новый жест, новая поза — и Сима замирала на носочках, а руки кольцом соединяла над головой... Неожиданно Сима повернулась. И Ляля Пуля увидел на ее груди два симметричных розовых пятнышка.

Он вздрогнул и хотел уже покинуть свое убежище и не спуститься, а спрыгнуть на землю, но в это мгновение Сима внимательно посмотрела в окно и увидела тайного наблюдателя. Сперва Ляле Пуле показалось, что Сима не узнала его. Она

вдруг сжалась в комочек и стала маленькой и беспомощной, как будто делала что-то нехорошее и ее застigli врасплох. Но потом пришла в себя, выпрямилась, скрестила руки на груди и подошла к окну.

— Что тебе надо?!

Ляля Пуля молчал. Но если бы даже он был говорящим, то все равно промолчал бы. Не мог же он сказать своей подруге, что должен был увидеть ее, услышать ее голос, ощутить ее близко.

— Зачем ты лазаешь по деревьям, как обезьяна?

Ночного рыцаря на белом коне она обозвала обезьяной.

— Уходи отсюда! Ты же видишь, что я раздета?

Он отвернулся, и вдруг она заметила красный след отцовского кнута на его шее. За ночное происшествие. След пылал, словно к телу приложили раскаленную проволоку.

— Это тебя отец? — спросила Сима.

Ляля Пуля, не оборачиваясь, кивнул головой. Ему показалось, что девочка пожалела его. Она тут же сухо скомандовала:

— А теперь слезай! Быстро!

«Я сошел с ума. Я делаю то, что может делать только мой заклятый враг. Как это произошло, что мой злейший враг — это я сам?

Она, как всегда, появилась во второй половине дня в воротах. И я, опустив голову, побрел ей навстречу. Я шел как луна-тик, заранее не зная, что произойдет дальше.

Увидев меня, она на какое-то мгновение остановилась. Она стояла в арке, словно была нарисована. Словно это был прекрасный портрет: ступня развернута, головка откинута, одно плечо чуть выступало вперед, словно она, моя ненаглядная балерина, собиралась сделать пируэт. И столько в ее облике было света, красоты... Мне показалось, что она позирует художнику. И тут я в первый раз в жизни пожалел, что не рисую, что не могу ее изобразить на холсте.

Она смотрела на меня удивленно и тепло. И я почувствовал такое влечение, какое не испытывал ни разу в жизни. Я хотел броситься к ней. Обнять ее, прижаться к ней.

Но она недолго стояла в подворотне. Тряхнула головой и пошла, поплыла над землей. И тогда, повинувшись какой-то темной скрытой силе, я бросился за ней. Обхватил ее руками... прижался к ней всем телом и почувствовал рукой... что-то бесконечно

теплое и нежное... Я испугался этой мгновенной близости. И тут же отдернул руки.

Она резко повернулась ко мне. Глаза ее горели ненавистью. А сама была белой как бумага. Все краски жизни покинули ее в это страшное мгновение. И она ударила меня. И что-то крикнула.

Я стоял ошеломленный посреди двора. Я не слышал ее слов, не чувствовал, как горит щека от удара. Я окаменел. Умер. Но сквозь свою смерть я продолжал чувствовать биение ее сердца, ее тепло, ни с чем не сравнимую нежность.

Не знаю, как я выглядел со стороны. Наверное, мерзко.

А она не уходила, она, казалось, с большим интересом смотрела на мое унижение. И в ее глазах, кроме презрения, я прочел нечто иное... Прощение? Жалость? Снисхождение?

И вдруг она подошла ко мне и тихо сказала: «Прости».

И пошла прочь.

И тут передо мной возник Завбань. Он всегда возникал в самые трудные минуты жизни. Живот колыхался под свободной толстовкой, вороватые глазки смотрели с наглым любопытством.

— А ты, оказывается, бабник! — сказал Завбань и захихикал мелким горохом».

Ляля Пуля был дома. Кажется, он обедал, когда в окне бывшего каретного сарая возникла розовая физиономия Завбаня.

Некоторое время он просто стоял и бесцеремонно пялил глаза на Лялю Пулю. Но когда немой отвернулся, чтобы не видеть противной рожи, Завбань сказал:

— Подожди... Подожди, Ляля Пуля. Там у тополя ребята твою тетрадочку читают. Забавно ты пишешь.

Завбань улыбнулся, словно состроил гримасу, и тонким голоском пропел:

— А ты, оказывается, бабник, Ляля Пуля!

Немой не сразу понял, в чем дело, со звоном захлопнул окно перед носом Завбаня. И только тогда известие молнией вонзилось в его сознание. Ляля Пуля побелел и тихо застонал. Потом беспомощно заметался по дому. И вдруг, схватив со стола большой кухонный нож, бросился к двери.

А в это время у старого тополя под смешки и колкие словечки синяя тетрадь разбалтывала ребятам тайну любви Ляли Пули.

— «Я ждал ее целый день... Она не появлялась... — читал рыжий парень, скаля в улыбке зубы. — Я смотрел на подворотню, но оттуда выходили другие люди, а ее не было...» Ха-ха!.. «Я молчал, но, если бы даже и был говорящим, я бы все равно молчал...» Ха-ха!.. «Ей и в голову не приходит, что днем и ночью я думаю только о ней. А сказать ей этого не могу...» Ха-ха...

Вдруг смех оборвался. Рыжий запнулся. Ребята подняли глаза и увидели Лялю Пулю. Он стоял перед тополем белый, с большим ножом в руке. Его грудь тяжело поднималась и опускалась, а холодные, бесцветные глаза скользили по лицам оцепеневших ребят, словно выбирали жертву.

Державший тетрадь понял, что надо как можно скорее вернуть ее разъяренному Ляле Пуле. Он бросил тетрадь, и, взмахнув синим крылом, она опустилась к ногам своего хозяина. И в то же мгновение, тесня друг друга, ребята пустились бежать, спасаясь от возмездия, трусливо озираясь.

Ляля Пуля не побежал за ними — остался стоять над своей исповедью, над своей оскверненной любовью. Синяя тетрадь предала его, разболтала тайну его любви. И как изображенный на обложке вещей Олег должен был умереть от коня своего, так Ляля Пуля погибал от своей исповеди.

И тут он сломался, упал на колени и с силой вонзил нож в синюю тетрадь. Он наносил удар за ударом, словно обыкновенная школьная тетрадка в косую линейку была единственной виновницей его несчастья. Он вонзал нож в слова, которые не мог произнести и доверил бумаге. Слова предали немого. Слова! Будь они прокляты!

Может быть, в тот момент Ляля Пуля думал, что он убивает свою несчастную любовь. По молодости лет он не знал, что любовь нельзя убить даже ножом.

Он был немой. Он не мог говорить. Он мог только действовать. И нож уходил в землю, как в грудь воображаемого врага.

А потом Ляля Пуля охладел. Медленно встал и побрел прочь, не подняв с земли израненной тетради. Словно отрекся от нее и она уже не имела к нему никакого отношения.

И тогда я отбросил в сторону нож и поднял никому не нужную тетрадь. Я взял ее в руки осторожно, словно боясь причинить боль израненным страницам.

Рядом тут же появился Завбань, который с радостным интересом из укрытия наблюдал за этой дворовой драмой. Он довольно поглаживал живот.

— Интересуешься? — спросил он меня. На его лице было написано кислое самодовольство.

Я ничего не ответил. Пошел прочь.

Я вдруг почувствовал, что у меня в руках не тонкая школьная тетрадка, а жизнь человека. Израненная, несчастная жизнь.

Сперва я без особого интереса перелистывал изрезанные безжалостным ножом страницы. Читать было трудно: почерк у Ляли Пули был не бог весть какой, а часть букв погибла. Но чем больше я вчитывался в рваные полоски, тем больше поражался тому, какое удивительное существо скрывалось под личиной диковатого парня с поступью крадущегося зверя. Немой Ляля Пуля знал истинную цену словам. Его слова оживали, создавая удивительный мир любви.

И вдруг я понял, что не он немой, а я, все ребята нашего двора бессловесные твари, умеющие только кричать, свистеть, гикать, а те немногие слова, которые мы выкрикивали, были вовсе не словами, а звуками, междометиями, лишенными глубокого смысла, пустыми и броскими, как фантики.

Мы были немые, а говорил он. И каждое его слово окружал ореол смысла и чувств, каждое слово было на вес золота, и из этих бесценных Ляли Пулиных слов вдруг стал вырисовываться истинный Ляля Пуля.

Раненые страницы уводили меня в сложный, непонятный мир нашего немого товарища. Некоторые страницы сохранились почти целиком, от других остались только отдельные полоски.

«Слова нужны, только когда есть двое. А одному зачем слова, зачем голос. Разговаривать самому с собой можно и без слов...»

«Почему люди смеются над чужим горем? Может быть, они смеются от радости, что беда обошла их?»

«Все самое прекрасное на земле создается двумя людьми, а одному это не под силу...»

«То, что испытываю я, не чувствует ни один человек в мире, и поэтому у моего чувства нет названия, нет слова... а старые слова не годятся. Они слишком избиты, стерты, их звучание не находит отклика в сердце...»

«Как хорошо, что я немой, что я не должен доверять словам свое чувство. Ведь тайна разглашается словами... И предательство совершается словами. А для любви слова не нужны...»

Я осторожно расправлял уцелевшие полоски, словно перело

мной была не исповедь моего дворового сотоварища, а какой-то бесценный документ истории. А может быть, все, что здесь написано, касается и меня? Для того чтобы разговаривать самому с собой, слова не нужны. Тогда это было для меня откровением. Но теперь, спустя много-много лет, я понял, что значит в моей жизни слово. Слово существует во мне как самостоятельное живое существо, приводит меня в уныние и вызывает радость. Слово спасает меня от одиночества.

А когда человек не может произнести слово — это несчастье. Ляля Пуля всю жизнь преодолевал его. Сумел ли он в конце концов найти свое счастье?

Сперва я хотел вернуть находку Ляле Пуле — ведь тетрадка принадлежала ему. Но потом решил, что должен поступить так, как никогда бы не решился наш немой. Может быть, этим я помогу ему?

Вечером я позвонил в дверь Симы. Она открыла сама.

— Что тебе?

— Ты ничего не знаешь про Лялю Пулю? — спросил я.

Сима покачала головой.

— Что-нибудь случилось?

— Завбань отомстил ему. Он нашел его дневник и отдал ребятам. Ляля Пуля чуть не убил их. Но потом он изрезал тетрадь... Вот. Возьми ее.

И я протянул Симе изрезанную тетрадку.

— Зачем мне? — неуверенно спросила она, но я почувствовал, что она догадывается, в чем дело.

Я не стал объяснять, только сказал:

— Прочтешь, узнаешь!

Она приняла из моих рук тетрадку и вдруг, повинувшись предчувствию, прижала ее к себе, словно я собирался тут же отобрать у нее свою находку.

После того как синяя тетрадь с вещим Олегом попала в руки Симы, с ней тоже произошли перемены. Теперь она не задерживалась на дворе, а когда шла в училище, торопилась поскорее скрыться в полутемной подворотне — наверное, все жильцы дома знали о любви немого и, прижавшись лбами к стеклам, провожали ее недобрый всевидящим взглядом.

Она стала задумчивой, молчаливой, словно в честь своего немого влюбленного приняла обет молчания. Какие чувства переполняли ее? Что разрушилось в ней и что родилось заново?

Перечитывая рваные страницы исповеди Ляли Пули, она подумала, что немой заговорил с ней вопреки своей немоте и она даже услышала звучание его голоса, но этот высокий, прекрасный разговор подслушали, высмеяли, превратили в жестокий фарс. Грязные резиновые подошвы парусиновых туфель Завбани безжалостно прошлись по чистым страницам заветной тетради.

Каждый вечер, оставшись одна, Сима перечитывала тетрадь Ляли Пули. И хотя уже знала наизусть каждую страницу, читала, читала... Она уже не думала о грязных насмешках, о ненавистной физиономии Завбани — ее мучило другое: правда ли это любовь или плод прекрасной фантазии несчастного немого?

И однажды она не выдержала, вышла вечером во двор, подстерегла Лялю Пулю и встала на его пути.

— Зачем ты написал это? — спросила она и достала из своего балетного чемоданчика синюю тетрадку.

Ляля Пуля опустил голову и молчал.

— Ты хотел посмеяться надо мной?.. Ты хотел опозорить...

Глаза немого потемнели, он прижал к лицу кулаки, и из его груди вырвался стон. Нет, нет, я люблю тебя. Люблю твое лицо, глаза, твое платье, каждое твое движение... Люблю твой балетный чемоданчик... Он говорил, говорил, но слова не звучали и Сима не слышала его слов. А их было так много, и они были так горячи и прекрасны! Он не выдержал, задохнулся от непрозвучавших слов и бросился бежать. В темень осеннего вечера, в дождь, не разбирая дороги.

Я снова увидел загадочные глаза Ляли Пули, когда выплывал из мутной удушливой мглы. Надо мной покачивалось маленькое грязно-зеленое небо. Я стремился к нему, чтобы сделать глоток чистого воздуха, но не мог помочь себе, подгрести руками, потому что был неподвижен. Так тяжело я выходил из наркоза. А когда вышел, вырвался на поверхность, то увидел брезент палатки, сквозь который едва проникал свет рождавшегося дня. И увидел глаза Ляли Пули. На этот раз они показались мне не просто бесцветными, но прозрачными. И сквозь них, как сквозь линзы, я увидел близко-близко дом моего детства. Старый, весь в чешуйках отстающей краски, покрытый пылью веков. Когда-то у каждого подъезда была своя крыша, которая держалась на вынесенных к мостовой чугунных стол-

бах. Столбы и крыши сняли на моих глазах и отправили на переплавку: время было тяжелое, стране не хватало металла.

Еще я увидел наш двор, засыпанный серебристыми, словно вырезанными из жести, листьями тополей. Двор пах яблоками и прелой листвой. Стояла невнятная пора, когда осень еще держалась из последних сил и первый снег таял, едва коснувшись булыжников, словно они были горячими. Было мокро, как после дождя.

В такое утро по двору разнеслась весть: арестовали Симиного отца. За что, никто не знал, но поговаривали, что это дело рук Завбана. Он ведь не простил Симе «старый веник».

В те дни Завбань вместо толстовки, подпоясанный тонким кавказским ремешком, стал носить гимнастерку, стянутую широким командирским ремнем, хотя отставной заведующий банями никогда военным не был. Всем дворовым он запретил называть его Завбанем, требовал, чтобы к нему обращались официально — товарищ Глобов. Товарищ Глобов уже добровольно не стерег ящики с яблоками и не гонялся за ребятами, которым перепало яблочко. Он охранял нечто большее. А что именно, никто не знал. В один из таких дней Завбань, он же товарищ Глобов, лицом к лицу столкнулся с Лялей Пулей.

— Эй, Ляля Пуля! — сказал «старый веник», облизывая бублик. — А Малышева-то посадили. Кумекаешь?!

Маленькие глазки Завбана при этом блестели, словно говорили, нет, кричали: «Это я! Это я посадил Малышева! Кумекаешь, Ляля Пуля!»

Ляля Пуля стоял неподвижно и загадочно смотрел на своего недруга. И Завбань подумал было, что любовь немого прошла, что ему безразлично, горе у Малышева или все в порядке.

— Правильно, — сказал Завбань, — от них надо того... по-дальше.

И тут Ляля Пуля «раскумекал», что к чему. Упругая волна подбросила его — он прыгнул и вцепился руками в дряблое, розовое горло Завбана. Тот оцепенел, схватил Лялю Пулю за руки и все пытался отодрать их от своего горла. Но это оказалось не так просто. Накопленная обида немого обернулась силой.

— Пусти!.. Пус...ти, проклятый! — хрипел Завбань...

Его лицо налилось кровью, а губы побелели. Наконец ему удалось оторвать от себя нападавшего. Он отбежал в сторону и, потирая горло, кричал на весь двор:

— За жулика вступаешься! Ладно! Я тебе покажу, что такое ежовые рукавицы. Ты у меня заговоришь... немой!

Он что-то еще долго кричал в пустом дворе. Но Ляля Пуля не слышал его. Он ушел прочь.

Сима осталась совсем одна — ее мать умерла за год до этого. Люди сторонились ее. Старались с ней не заговаривать. Казалось, весь двор притих, потрясенный событием в доме Малышевых. Завбана стали побаиваться не только ребята, но и взрослые.

И тогда Ляля Пуля поднялся на третий этаж и решительно позвонил в двери Симиной квартиры. Она открыла дверь и была удивлена, увидев на площадке Лялю Пулю.

— Ляля Пуля? Здравствуй! Ты не боишься меня? Меня теперь все боятся.

«Пойдем со мной!» — глазами сказал Ляля Пуля и протянул ей руку.

И Сима впервые в жизни почувствовала власть Ляли Пули и обрадовалась этой власти.

Она ничего не стала спрашивать. Надела пальто, беретку, натянула резиновые ботики. Пошли! Ей было все равно, куда идти, лишь бы не оставаться одной в пустой квартире, наполненной горем, лишь бы быть с людьми.

Ляля Пуля привел Симу в бывший каретный сарай.

— Будешь жить с нами, — мрачно сказал гостье отец Ляли Пули. — Мы — люди.

А Ляля Пуля стоял рядом и не сводил с Симы глаз, словно все это отец произнес от его имени.

«Это слово должно прозвучать. Оно должно подняться над миром, как дикая, прекрасная птица. Но пусть услышит его только один человек... Я учусь произносить это слово. Оно для меня самое важное, без него я — ничто. Это слово — единственный признак моей жизни. Если бы я смог заговорить на мгновение, только для того, чтобы произнести это слово... Это слово... Слово...»

Когда я окончательно пришел в себя и низкое небо навсегда превратилось в полог палатки, я стал ждать появления Ляли Пули, но так и не дождался. Мне рассказали, что в медсанбате действительно есть немой санитар. Он вольнонаемный, пото-

му что немых в армию не берут. Но сейчас он отсутствует, сопровождает раненых, и неизвестно, когда вернется.

Каждый раз, когда я приезжаю в родной город, иду на свою улицу, подхожу к дому, где прошло мое детство, заглядываю во двор. Там многое изменилось. Из трех больших тополей остался только один. Поверх булыжников положили асфальт. А старые каретные сараи превращены в какие-то мастерские. Во дворе теперь не пахнет яблоками: видимо, «плодоовощ» со своими ранетами, антоновками, розмаринами, как и конь Орлик, навсегда покинули наш двор.

Знакомых во дворе нет. Можно просто походить, повздыхать и медленно идти прочь.

И только Завбань, как призрак прошлого, сидит на скамейке, уронив голову на грудь, и дремлет. Говорят, ему пришлось держать ответ за содеянное. Но он отделался испугом. И вот замер, как старый поганый гриб, который все обходят, все боятся даже прикоснуться к нему. Он выжил... Догнивает свой век.

Но это рассказ не о Завбане, а о Ляле Пуле.

В балете «Жизель» заглавную роль танцевала Серафима Малышева. Я сидел в затихшем зале и ждал встречи с подругой детства, с девчонкой из нашего двора, с бывшей девчонкой. Я ждал этой встречи затаив дыхание. Но когда погас свет и дирижер поднял руку с палочкой, похожей на прутик, я почувствовал на себе пристальный взгляд. Почти физически ощутил его и повернул голову. Недалеко от меня сидел Ляля Пуля. Он сильно изменился — отрастил бороду, седые волосы были подстрижены под бобрик. Но глаза, загадочные глаза Ляли Пули, с радужками, похожими на ледяные кристаллики, были прежними. Они смотрели на меня в упор.

Мне не у кого было расспросить, что связывает его с Симой. Может быть, она вышла за него замуж. А может быть, у нее своя жизнь. Но я понял, что Ляля Пуля навечно стал ее бессловесным спутником. И что он всегда рядом. И стоит ему почувствовать, что Симе что-то угрожает, и он кинется в бой против любого Завбана.

Заиграл оркестр, и под звуки скрипок в полутьме затаенного зала я прочел в его взгляде затаенную радостную гордость: «Смотри внимательно, друг, как прекрасна моя Сима! Моя Сима... Моя Сима...»

И решено было устроить в школе учительскую вечеринку.

Условились, в каком классе расставить столы, какой класс освободить для танцев, если, конечно, найдутся желающие танцевать. Объявились добровольцы печь пироги, делать салаты, варить картошку. Кто-то вызвался принести из дома самовар. А учитель химии — кто бы мог подумать! — оказался гитаристом и клятвенно обещал прийти с гитарой. Словом, все шло на лад, если бы не маленькая загвоздка: некоторых смущало само слово «вечеринка». Говорили, что это слово мещанское, что отдает оно кабаком. Спору не было бы конца, если бы не вмешался сам Прокоп.

Старейший учитель школы Прокофий Андреевич, которого все поколения учеников и коллег за глаза называли Прокопом, был человеком несуетливым и рассудительным. В разгар спора, когда решалась судьба веселого слова «вечеринка», Прокоп, ни к кому не обращаясь, произнес:

— Во времена моей юности такие вечера назывались «спайкой» или «смычкой». Каждому выдавался стакан чаю, пайка ноздреватого хлеба и бьющая в нос сельдь в ржавых доспехах.

В учительской воцарилось неловкое молчание. Тогда Прокоп повернулся к товарищам, посмотрел на них исподлобья и сказал:

— Чтобы вас не терзали сомнения, обратимся к Далю.

Через минуту он уже стоял посреди комнаты с внушительным томом толкового словаря в руках.

— Итак, по Далю, «вечеринка — название вечерних сборищ, собраний, пиров». — Прокоп обвел товарищей насмешливым взглядом и продолжал: — Если не подходит, есть еще один вариант: «вечерница — вечернее собрание девок под предлогом чески льна, пряжения, куда приходят холостые парни, просиживая ночь напролет». Если заменить ческу льна проверкой тетрадей, то это вполне подходящий вариант. Правда, с холостыми парнями дело у нас обстоит худо.

Выступление Прокопа принесло желанную разрядку. Все заулыбались, и доброе русское слово «вечеринка» перестало отдавать кабаком.

Наступил назначенный день. Школа опустела, как пустеет перрон после отхода поезда. На каком поезде, в какую сторону

умчались обитатели школы? Стало непривычно тихо. Только в длинном коридоре еще сохранялся отголосок ребячьего гула, как в пустой раковине шум моря.

Вечеринка началась не с музыки и не с задравной чаши — с хлопанья дверей и со скрежета передвигаемой мебели. Мужская половина поспешно, как при пожаре, выносила из классов парты и строила из них в коридоре длинную скрипучую баррикаду. Тем часом женская половина занималась столом.

«Первоклассница» Зиночка расставляла тарелки. Белые диски легко слетали с ее руки и бесшумно приземлялись в том месте, куда их посылала молодая учительница.

— Как у вас ловко получается, — восхищалась Зиночкой Анна Ивановна, завуч, женщина пожилая, но с правильными красивыми чертами лица и темными живыми глазами.

— Я три года была подавальщицей, — смущенно призналась Зиночка. — Училась в институте и работала в столовой.

Все диски были разбросаны, и в руках молодой учительницы уже как пойманные трепетали ножи и вилки.

А в это время в большом тазу под руками «англичанки» Нины Ильиничны занималась свекольная заря винегрета. Большой клетчатый фартук и ложка, забрызганная майонезом, нарушили строгий облик суховатой «англичанки», и в ней появилось что-то домашнее, располагающее, чего товарищи по работе никогда не предполагали раньше.

Неожиданным для всех было и то, что в старом Прокопе, оказывается, пропадал великий мастер разделывать селедку. Он снял пиджак — «Надеюсь, дамы простят меня!» — закатал рукава сорочки и вооружился ножом. Он не резал селедку на вульгарные ломтики, а рассекал надвое и заливал соусом, похожим на крем.

Анна Ивановна резала пирог, который сверкал, как лакированный, и под ножом дышал утробным вулканическим жаром.

Постепенно класс заполнялся целым сонмом аппетитных ароматов, которые без труда вытеснили привычные запахи мела, мастики, пота. И голоса, зазвучавшие в этих стенах, тоже были непривычными, из ряда вон выходящими. Вместо осмысленного толкования, в каких случаях следует писать «чик», а в каких — «чек», Зиночкин звонкий голос с тревогой сообщал:

— У нас не хватает двух рюмок.

— Готов пить из вашей туфельки, — галантно предлагал химик.

— У меня тридцать восьмой номер, — сокрушалась Зиночка. И тут за ее спиной безмолвно вырастал атлетическая фигура учителя физкультуры, и под его тяжелым взглядом химик отступал.

Люди, привыкшие видеть друг друга в строгой школьной обстановке, испытывали освежающее удивление от неожиданной перемены. словно все увидели паровоз, который свернул с рельсов и покотился по проселку, а потом переехал вброд речку, и с его колес стекает вода и свисает зеленая пряжа тины.

Скоро ли начнется вечеринка? Да она уже началась с того момента, как люди напрочь выкинули из головы слова: успеваемость, экзамены, педсовет...

Веселье началось не сразу. Оно входило в свои права, разгоралось медленно. Сперва появилась какая-то непринужденность, легкость, общее прекрасное расположение духа. Привыкшие говорить тихо — заговорили громко, сдержанные — зажестичулировали руками, серьезные — засмеялись. И постепенно классная комната наполнилась гулом голосов и взрывами смеха. Пропало разделение между говорящими и слушающими — говорили все сразу. Каждый подбрасывал ветку в поющий костер веселья. Какие-то неведомые лучи высветили в немолдых людях мальчишек и девчонок, которые, оказывается, не затерялись в пути, а прошли с ними через всю жизнь.

В седой красивой Анне Ивановне ожила голубоглазая Аннушка Еремина, за которой вечно тянулся хвост мальчишек, а она хоть и делала вид, что не замечает этого хвоста, но в глубине души гордилась. Прокофий Андреевич превратился в эталон упрямого малого, из тех, что если упрутся, то будут молчать, а на спор могут полезть в прорубь. Нина Ильинична вдруг залилась дробным, раскатистым смехом, и все почувствовали в ней бывшую веселую хохотушку — стоит соседу по парте показать палец — и она смеется. Что же касается «химика», то из него буквально вырвался маленький дичок — цыганенок. А Фокина в детстве сидела поджав губы и ябедничала, а дома из буфета таскала конфеты. Она и теперь улыбается сдержанно, как будто скупа, а за улыбку следует платить.

Зиночка и ее атлетический телохранитель так недалеко отъехали от станции «Детство», что в них труднее разгадать взрослых, чем ребят.

Впервые за долгое время собрались одни учителя и на одну ночь стали полновластными хозяевами школы. Ах, какая великолепная легкость охватила их, как они раскраснелись, как помолодели, забыв о заботах и хворях.

Нина Ильинична, смущаясь как первоклассница, пела романс «Я встретил вас». Анна Ивановна кружилась в вальсе. Прокоп танцевал мазурку. А могучий телохранитель Зиночки не пел и не танцевал, хотя в компании был самым молодым.

Устав от танцев, снова возвращались к столу. Беседовали.

— Иногда учитель как осядет в одной школе, так на всю жизнь,— задумчиво говорил Прокоп.— Но случается, он долго не может найти нужного его сердцу пристанища, странствует по городам и весям, как провинциальный актер. Чего он ищет? Денег? Славы? Ни того, ни другого на учительском поприще не найдешь... Бродячий человек ищет либо себя, либо хочет уйти от самого себя подальше. Вот вы, Фокина, много странствовали?

Прокоп повернулся к Фокиной и замер в полупоклоне.

— Я не странствовала. Я только один раз...— ответила, запинаясь, Фокина, и ее лоб от смущения стал пунцовым в крапинку.

— Я знаю причину,— таинственно сказал Прокоп.

— Не знаете,— отрезала Фокина.

— Хотите отгадать? — Прокоп лукаво подмигнул товарищам и уставился на Фокину, как бы изображая медиума.— Несчастливая любовь!

Сам не ожидая того, он попал в цель. Фокина заволновалась, хотела возразить, но запнулась и глухо пробормотала:

— Я вам такого не говорила.

— Верно! — согласился Прокоп.— Не говорила. Но ведь я не соврал. Скажите, Фокина, не соврал?

Фокина стала проворно есть винегрет. Но когда подняла глаза, то увидела, что все смотрят на нее выжидательно. И поняла: от этой компании так просто не отделаешься. Надо было платить дань. И она стала рассказывать:

— Он был пожарным добровольной пожарной охраны. Но любил он другую. Я хотела уехать. Только у меня на руках была мать-старуха. Куда с ней двинешься?.. Потом у меня в классе сын этого пожарного учился. Очень был похож на отца. Когда мать моя померла, я все-таки уехала.

Она замолчала и испуганно огляделась, боясь, что кто-ни-

будь засмеется. Но никто не засмеялся. Только Зиночка спросила:

— Он был красивым, ваш пожарный?

Фокина недовольно посмотрела на молодую учительницу и сказала:

— Он был высоким... Я вообще люблю высоких.

Больше она не сказала ни слова. И некоторое время испытывала муки раскаяния за свою неожиданную откровенность. Но постепенно раскаяние сменилось облегчением.

Чувство к пожарному, неразделенное и заглушенное, жило в ней каким-то зябким, сиротливым комочком. Здесь, среди товарищей, оно впервые оттаяло, и никто не оскорбил его, не обидел.

Признание Фокиной проложило теплую дорожку к сердцам гостей вечеринки. И каждый почувствовал потребность поделиться своими тревогами и горестями. И эти рассказы были такими же неожиданными, как признание Фокиной.

Дошла очередь и до Прокопа.

— Разные разности происходят на свете,— сказал он и посмотрел на товарищей.— Знаете ли вы, например, как умирают лайки?.. Когда старая лайка почувствует, что силы ей изменили и она не может наравне с остальными собаками бежать в упряжке, она идет умирать на лед... Не просит милосердия. Не вымаливает горсть сухой юшки. Она идет умирать мужественно и гордо. И не гудят корабли. И люди не провожают ее, сняв с головы шапки. А ведь лайки возили людей и, когда было невозможно везти, окружали человека кольцом и делились с ним своим собачьим теплом. Они были настоящими друзьями. Незаменимыми. Важными, как жизнь и смерть.

В классной комнате установилась глубокая тишина. И хотя никто не понимал, почему старый Прокоп заговорил о лайках, все слушали с напряженным вниманием. А он сидел, подперев подбородок двумя кулаками, и рассказывал:

— Весной, когда стает снег, на прибрежной кромке льда взгляду человека откроются замерзшие тушки собак. Их никто не хоронит. Только спустя время льды тронутся и поплывут, как лафеты, с мертвыми собаками. Где-то вдали от берега прах опустится на дно и будет лежать там на подводном погосте... Эх, друзья дорогие, когда мне бывает трудно, я вспоминаю о лайках. Я переживаю их смерть. И стараюсь обрести силу собаки, идущей на смерть... Будете старыми — поймете!

Последние слова Прокоп произнес тихо, но в них прозвучало предчувствие какой-то тяжелой истории. И веселый огонь вечеринки начал было слабеть и потух бы совсем, если бы не «химик». Он вовремя потянулся к гитаре, взял аккорд, его брови страдальчески сошлись над переносицей, и он запел:

Если жизнь не мила вам, друзья,
Если сердце терзает сомнение,
Все рассеет здесь песня моя,
В ней тоски и печали забвенья.

Было непонятно — поет ли он серьезно, или слова старинного цыганского романса забавляют его, и он куражится над ними.

Я спою вам, друзья, про любовь,
Всех страданий виновницу злую.
Каждый вспомнит свою дорогу,
И сильнее забурлит ваша кровь...

«Химик» вдруг перестал играть и воскликнул:

— Я поднимаю бокал за любовь!

Кто-то засмеялся, кто-то захлопал в ладоши. Фокина густо покраснела: она решила, что «химик» намекает на ее пожарного.

И тогда поднялся старый Прокоп.

— Предлагается тост за любовь, если я не ослышался? И никто не поддержал его. Неужели среди нашего братства нет места любви? Или это слово не всем понятно и мне придется идти в учительскую за Далем?

Тут Прокоп обвел взглядом товарищей, и все заметили, что, несмотря на годы, он держится очень прямо, а глаза, смотрящие из глубины, светятся зеленоватым огнем.

— Я хочу вам рассказать о своей любви. Что вы удивляетесь?! Думаете, старый Прокоп не знал ничего, кроме земноводных и водоплавающих? Знал! Был влюблен. И, может быть, по сей день где-то здесь, — он ткнул себя пальцем в грудь, — дотлевают последние угольки моей первой любви.

Он отпил из рюмки и аккуратно поставил ее перед собой на стол.

— Мы, учителя, особая каста. Иногда уважаемая, иногда отверженная. И люди порой предъявляют к нам те же требования, что и к монахам. Разве мы монахи? Мы — земные. А ме-

ня судили как монаха. И как монаха-отступника объявили еретиком и отлучили от храма. Выгнали из школы. И все это произошло потому, что я нарушил неписанный устав: влюбился в свою ученицу.

— Ой-ей-ей! — вырвалось у Фокиной.

— Ой-ей-ей, — в лад ей повторил Прокоп. — Правильно, Фокина! Правильно, голубушка! Безнравственно! — Тут он замолчал и как бы с сочувствием посмотрел на пунцовую Фокину. И уже тихо, совсем на другой ноте, закончил: — Безнравственно, если старый Прокоп, как Мазепа, восплачет страстью к девочке. Но тому, далекому, Прокопу едва перевалило за двадцать, а предмету его любви было восемнадцать. Торжественно заверяю вас, что влюбился он не намеренно, без злого умысла. Увидел ее и забыл про монастырский устав...

Прокоп прижал руку ко лбу, словно хотел надвинуть на глаза богатырский шлем. Вдохнул и продолжал свой рассказ:

— Помню, иду по деревне и вижу: стоит незнакомая девочка посреди дороги и моет коленки в луже. Длинные косы соскользнули с плеч, и кончики их мокнут в луже, а она не замечает. Трет коленки. Они от холодной воды покраснели.

Мне почему-то смешно стало, и я окликнул девочку:

«Здравствуй!»

Она резко распрямилась и повернулась ко мне:

«Здравствуй!»

Руками прикрывает коленки и смотрит на меня большими светло-серыми глазами. И не поймешь по глазам — сердится ли она на меня или смущена моим внезапным появлением. Потом она скрестила на груди руки и прижала ладони к голым плечам, словно хотела скрыть их от моего взгляда.

«Что ты стоишь? — говорит. — Иди».

«Хорошо, — отвечаю, — пойду. Ты приезжая?»

«Тебе какое дело? С Байкала я!..»

А сама смотрит мне в глаза, и я не могу оторвать от них взгляда. И вдруг чувствую, что не вижу ничего, кроме ее глаз... Бывают у людей безжизненные глаза, а эти были наполнены таинственной напряженной жизнью. И так меня потянуло к жизни ее глаз, к их тайным радостям и печалям!.. Я шагнул к ней, она повернулась и побежала. Один раз оглянулась — и скрылась в палисаднике. А в сентябре прихожу на урок — девочка с Байкала сидит на второй парте у окна...

Он вошел в раж, старый Прокоп. Никогда еще рядом с ним не собиралось столько людей, которых он понимал, которых любил каждого по-своему. Кому, как не им, доверить свою исповедь! И он рассказывал, а они слушали его с любопытством и удивлением.

— Каждый раз, ложась спать, я думал о ней в надежде, что она приснится мне. Нет, не снилась. Вот ведь какое обидное дело... Только один раз приснилась. Такой получился сон странный. С пирожками. Мне приснилось, что она идет по классу с подносом, а на подносе пирожки с капустой. И каждому достается пирожок. Все молча берут и едят. Когда же она подошла ко мне — на подносе ни одного пирожка. Не достался мне пирожок, и ей тоже. Вокруг все едят пирожки так аппетитно, а она стоит передо мной с пустым подносом. И как бы спрашивает: что делать? И глаза у нее виноватые: извините, уж так получилось — не хватило вам пирожка. Я как-то глупо улыбаюсь: мол, ничего страшного, обойдусь. А самому ужасно обидно. Так обидно, что к горлу подступает горечь. Вот-вот заплачу, как маленький. И заплакал. Я плачу, а все едят. Тогда она говорит: «Вы не плачьте, я вам испеку пирог. Большой и вкусный». — «Не надо мне большого, мне бы маленький... пирожок. Мне сейчас надо, а потом будет поздно...»

После этого мне стало казаться, что она проникла в мою тайну. Знает об этом сне, участвовала в нем. И глаза у нее стали виноватыми: извините, уж так получилось.

Уж так получилось! Раньше я очень любил длинные дни, когда по часам вечер, а все вокруг залито светом. Теперь я стал любить ранние сумерки. Темные вечера были нашими друзьями: укрывали нас, когда мы шли вдвоем по скрипящим морозным улицам. Я и в темноте видел ее глаза, чувствовал их жизнь. И замечал, что она, эта жизнь, становится все радостней и труднее. Какое-то тревожное предчувствие появилось в ее глазах, но я старался не замечать его.

О чем мы говорили? Да о разных разностях. Я, например, рассказывал ей о странствующих голубях. Они водились в Северной Америке в прошлом веке. Летали не стаями, а целыми тучами. Их американцы уничтожали чем попало — ружьями, палками, камнями. Целыми городами выходили на эту разбойную охоту. Лавочники, клерки, полицейские, поэты, изобретатели шестеренок — все бежали и били, били, били... И дошло дело до того, что на земле не осталось ни одного странствующего

щего голубя. Уничтожили целый вид! Помню, она очень жалела странствующих голубей. О любви мы никогда не говорили. Да нужно ли вообще говорить о любви? Разве говорят о том, что ходят по земле, дышат воздухом...

Прокоп опустил глаза. Умолк. Потом тихо, каким-то чужим голосом сказал:

— Однажды мы совершили ошибку: вышли из темной улочки на светлую. И там нас увидели вместе.

— Ай-яй-яй! — вдруг выдохнула Фокина.

У нее это получилось помимо ее воли. Она даже сама испугалась своего «ай-яй-яй» и поспешно поднесла ко рту руку с салфеткой. Но Прокоп услышал. Повернулся к Фокиной всем корпусом. Даже слегка наклонился к ней.

— Правильно, Фокина! Верно, голубушка! Нельзя выходить на свет, если любовь. Но мы забылись. Потеряли голову. Всем парням и девкам разрешается ходить обнявшись. Нам нельзя было... И пошла молва по городам и весям: учитель Седов крутит любовь со своей ученицей!

И он засмеялся жестким смехом, похожим на плач.

— Что же было дальше? — тихо прошептала Зиночка.

— Расскажите, Прокофий Андреевич, — стали просить остальные.

А Прокоп все хмурился, молчал.

— Я вам лучше про собак расскажу, — сказал он.

— Не надо про собак! Нам про любовь, — настаивал «химик», поводя озорными цыганскими глазами.

— Про собак, между прочим, тоже интересно, — вздохнул Прокоп, и в это мгновение со стороны окна доносился тонкий детский голосок:

— Про собак интересней!

Все оглянулись и увидели мальчишку. Не всего мальчишку, а круглую ушастую голову и подбородок, прижавшийся к подоконнику. Глаза мальчика были широко раскрыты, и в них горело яростное любопытство. Он наблюдал за происходящим в классе, и то, что видел и слышал, было таким необычным, что сковало его, как действие гипноза.

Зина поднялась со стула, сокрушенно воскликнула:

— Пряхин! — И устремила к окну.

Пряхин не шелохнулся.

— Ты что здесь делаешь?

— Смотрю.

— Не смотришь, а подсматриваешь,— сказала Зина.— А подсматривать за взрослыми отвратительно.

— Отвратительно? — переспросил мальчик, все еще не приходя в себя.

— Ты давно подсматриваешь? — спросила Зина.

— С самого начала.

— С самого начала! Немедленно отправляйся домой. Тебе здесь нечего делать!

— Так интересно же,— пояснил мальчик.

— Что ты слышал?

— Как песни пели... слышал. А когда говорили, было плохо слышно. Но про собак я слышал.

Мальчишке не хотелось уходить. Сейчас, глядя в окно школы, он сделал удивительное открытие. Оказывается, учителя могут петь, смеяться, есть винегрет — как все обычные люди. Но от этого они не упали в его глазах, напротив, приобрели новые любопытные качества и стали ближе.

К окну подошел «химик»:

— Хочешь бутерброд? — спросил он мальчика.

— Я сытый.

— Тогда давай отсюда. Одна нога здесь, другая дома.

Понял?

— Понял,— ответил мальчик, но с места не тронулся.

Пришлось в дело вступить Прокопу. Он подошел к окну и строго — он умел это делать — глянул на маленького нарушителя спокойствия.

— Ты знаешь, кто я? — спросил он мальчика.

— Прокоп! — выпалил первоклассник.

— Правильно. А тебя как звать?

— Я Шурик.

— Так говоришь — про собак интересней?

— Интересней.

— Расскажу... в другой раз. А теперь, брат, дуй отсюда.

Договорились?

— Договорились!

Подбородок отклеился от подоконника. И мальчик растворился во тьме летней ночи.

— Мне нравится этот ушастый Шурик,— сказал Прокоп, тяжело опускаясь на стул.— Я люблю, когда во взрослом можно разглядеть ребенка, а в ребенке просматривается взрослый. И никакой мути! Кстати, у кого учится этот Шурик?

— У Зиначки,— тихо сказала Анна Ивановна.

Зиначка молчала, не зная, краснеть ей за своего ученика или гордиться им. И тут, словно отвечая ее мыслям, старый учитель сказал:

— Мы часто допускаем ошибку: воспитываем в детях себе подобных. А надо воспитывать их такими, какими мы сами мечтали стать, да вот не вышло... Надо, чтобы этот Шурик не стоял, понутив голову перед малиновой скатертью, как молодой Прокоп. А рванул бы ее на себя и крикнул бы в лицо судьи и подсудков: «Что вы из знамени скатерть сделали? Да еще чернильных пятен наставили!..» Сперва мне, как Галилею, говорили: «Отрекись!» Я твердил им: «А все-таки она вертится. Люблю!» Мне в ответ: «Не должна она вертеться. Не имеет права учитель влюбляться в ученицу. Если все учителя влюбятся в своих учениц...» Тогда я стал просить их: «Вы хоть ее пожалейте!» Ничего не пожалели черные монахи. «Мы,— говорят,— за тебя перед роно отвечать не будем!»

В окне давно уже не было круглой ушастой головы, но все учителя время от времени посматривали в сторону окна, как бы опасаясь, что маленький хитрец затаился где-нибудь внизу и появится снова.

— Что же было дальше, Прокофий Андреевич? — спрашивали со всех сторон, когда старый учитель умолкал и погружался в свои мысли.

— Дальше был длинный стол, покрытый малиновым сукном с кляксами. За этим столом сидели мои товарищи. И никто не мог поднять глаз, потому что втайне сочувствовали мне. И никто не поднялся над малиновой скатертью и не сказал: «Товарищи, что вы делаете? Разве можно судить любовь как преступление? Разве у вас есть моральное, нравственное право судить?»

Все молчали. Все подняли руки: проголосовали за отлучение от храма.

Руки поднять легко — глаза поднять трудно. А ведь судил меня один человек, остальные подсуживали. У того человека была язва желудка, и жена его поколачивала. И ему надо было выпустить злобу, как паровозу — лишние пары. Он ее и выпустил на мою любовь...

Уже давно перевалило за полночь, а вечеринка еще теплилась, и нет-нет в золе оживал уголек. Никто не хотел раскопаться. Мир несчастной любви Прокопа, который долгое время

был скрыт от каждого, вырвался наружу, сблизил людей, и всем хотелось еще побыть вместе.

— Где она теперь? — вдруг спросила Зиночка.

— Далеко, — не поднимая головы, ответил Прокоп.

— Сколько километров?

Этот почти детский вопрос молодой учительницы заставил Прокопа встрепенуться. Он поднялся, подошел к окну и, не поворачиваясь к собранию, сказал:

— Она не пережила позора, которым заклеили нашу любовь... И побрела любовь на лед... И легла, свернувшись калачиком. И не гудели корабли, и люди не провожали ее, стянув с голов шапки. Все было так, как будто ничего не произошло. А она уже лежала на льду, мужественная и гордая. И засыпала навсегда. Холодные ветры перелетали через нее и заметали сухой снежной крупой... А вы говорите — при чем здесь лайки? Так поднимем чашу за любовь!

Но никто не поднял чашу. Прокоп медленно вернулся к столу и выпил свою один.

Было уже совсем светло, когда вечеринка кончилась и все разошлись по домам. В школе остались только Зиночка и ее атлетический телохранитель. Они стали расставлять по местам парты. В открытые настежь окна хлынула сырая свежесть рождающегося утра, и запах парной земли вытеснил из классной комнаты недозволенный запах табачного дыма. Парты поскрипывали и послушно вставали на свои места. Вот уже выстроился первый ряд, второй... А молодые люди все носили и носили эти древние деревянные станочки, на которых из человечка делают человека. Класс был залит светом, и только доска чернела, как огромное окно в ночь.

Неожиданно Зина остановилась и села за парту.

— Ты что? — спросил физрук.

Зина молчала.

— Ну что ты?

В его голосе звучала озабоченность.

— Лаек жалко, — прошептала девушка.

До него не сразу дошел смысл ее слов.

— Они молодцы, эти лайки, — наконец сказал учитель физкультуры. — Не желают унижаться. Состарились и пошли на лед.

— Состарились, — сказала Зиночка. — А любовь Прокопа была совсем молодой. И пошла на лед... умирать.

— Она тоже была гордой.

— Она была дурой... эта девчонка старшекласница. Она должна была уйти с Прокопом...

— Ты хорошо рассуждаешь, Зиночка. А я тебя зову, зову... Почему ты не идешь?

Зиночка поднялась из-за парты, положила ему руки на плечи и заглянула в глаза.

— Не грусти, — сказала она тихо. — Ты еще молодой, зачем тебе грустить. Прокопу можно. А тебе ни к чему... Хорошая была вечеринка, правда?

И тут молодые люди почувствовали присутствие постороннего и, не сговариваясь, оглянулись. В окне виднелась лопоухая голова, которая подбородком оперлась на подоконник и наблюдала за происходящим.

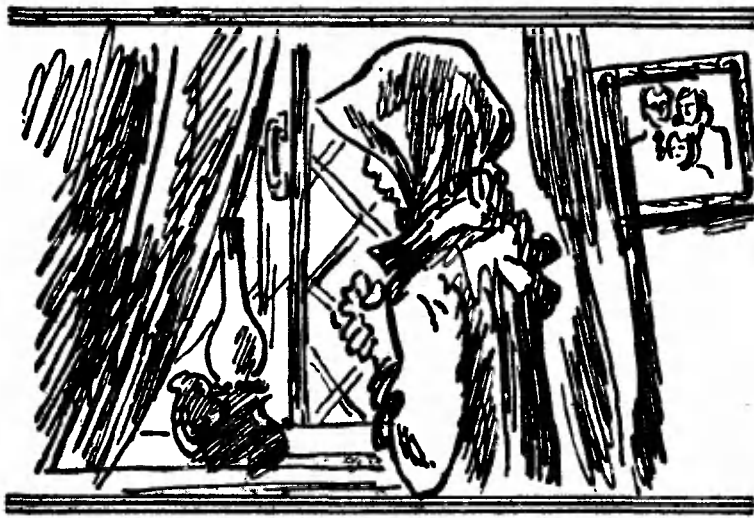
Это был все тот же Шурик.

— Ты что здесь делаешь?

— Ничего, — ответил Шурик.

— Ты спать не ходил? — испуганно спросила молодая учительница.

— Ходил... Уже выспался, — ответил Шурик. — Мне жалко лайку. Я бы взял к себе старую собаку.



СТРАСТИ ПО ЧЕТЫРЕМ ДЕВОЧКАМ

МИСТЕРИЯ

Песнь первая

Я приглашаю вас в свой Театр.

Есть лишний билетик? Миллион лишних билетиков! Для каждого желающего есть место в моем Театре. Но должен предупредить, что во время действия никому не удастся встать и уйти. Не получится! Мой Театр двинется за вами со всеми декорациями и героями, со всеми перипетиями и страстями. Театр вселится в каждого из вас. Станет вашей болью и тревогой. Такой это опасный Театр!

Мы говорим Театр — и перед нами возникает здание с колоннами, похожее на храм. Театр и есть храм. Недаром в вышине на треугольном фронте в бронзовой колеснице стоит бог. С его плеча плавно спадает легкая туника, на голове венок из веток лавра. В руке он держит шестиструнную кифару: выменял ее на несколько коров у ловкого купца Гермеса. Говорят, он необыкновенно красив, этот бог, но с земли черты его лица неразличимы: ведь он, как подобает богу, вознесен очень высоко. Приходится верить на слово. Это Аполлон — бог красоты. А красота — теперь это знают все — спасет мир.

Он стоит неподвижно и выжидающе смотрит вдаль, а запря-

женная в колесницу квадрига — четыре коня, вздыбленных над театральной площадью, — нетерпеливо ожидает сигнала своего повелителя. Стоит ему сочно причмокнуть губами и как следует встряхнуть вожжи — но-о! — кони сорвутся с места и тяжелые колеса загрохочут по крышам города. Э-ге-ге!..

Театр — не только божество, это еще лукавство. Здесь можно дернуть старика за бороду, и борода окажется в вашей руке, а перед вами вместо почтенного старца — нагловатый молодой парень в джинсах. Старик же торопливо натянет на лысину парик и на ваших глазах превратится в молодого. Здесь, если надо, румяный побледнеет, бледный зарумянится. Грим! Жадный расщедрится, добродушный примет облик злодея. Роль!

В Театре все немного ненастоящее — декорации, немного временное — роли. И вечное — правда.

— Правда — душа Театра. Но какая это трудная, сложная правда. И какая великая. Ведь сама наша земля — огромный Театр, а все мы как бы артисты, и у каждого своя роль в Театре жизни. Ведь не случайно великий Шекспир назвал свой театр — «Глобус».

А может быть, каждый из нас — сам по себе Театр? Наша память — спектакль. Действующие лица и исполнители — те, кого мы любим, кто живет рядом с нами, без кого мы не можем обойтись, но и те, кто отравляет нам жизнь. И те, кого нам так не хватает, но о них мы узнали слишком поздно — они жили в другое время, и встретиться с ними можно только в Театре. В этом Театре нет колонн, нет бронзового бога в колеснице, который все еще надеется спасти мир. Мой Театр всегда со мной и с вами.

Я приглашаю вас в свой Театр. Слышите — первый звонок.

В хмурый день на снежном насте сквера лежал сухой, сморщенный листок. Сперва он показался мне маленьким замерзшим мышонком, о котором когда-то в детстве мне пела мама:

Отвечает ей мышонок:

— Голосок твой слишком тонок.

Лучше, мама, не пищи,

Ты мне няньку поищи!

Вот и нашлась нянька. Навсегда укачала глупого мышонка.

Но потом сухой листок на снегу неожиданно напомнил мне самого себя, только молодого. Листок такой же серый, как моя

солдатская шинель. Его черенок не мышиный хвостик, а штык моей винтовки. А такой маленький я потому, что время — уменьшительное стекло. Чем больше пройдет времени, тем меньше размером становятся его действующие лица и исполнители.

Театр, наперекор времени, малое превращает в большое. Иногда в великое.

Так из опавшего листка я становлюсь действующим лицом театра военных действий. Я лежу в подмосковном поле, в снегу. 1941 год. Фашисты подошли к Москве. Это они прижали меня к земле, вдавили в снег. Я большой, тяжелый, от холода неповоротливый. Но с птичьего полета, вернее, с полета «мессершмитта», я выгляжу занесенным ветром сухим листком. И для пролетающего надо мной фашистского летчика я значу не более, чем опавший листок. Но если я подниму голову, загремит пулемет. И тогда...

В самые трудные минуты, когда казалось, все кончено или кончится в следующее мгновение и нет уже зацепки за жизнь, я вспоминал о сложенной вчетверо страничке из тетрадки, которая лежала в левом кармашке моей гимнастерки. Это было мамино письмо. Я знал его нанзусть и в минуты отчаяния мысленно как бы перечитывал. И в моей памяти — в моем фронтовом Театре — возникали самые бесценные декорации и сцены: я видел нашу ленинградскую комнату с большой кафельной печью. Печь и дрова потрескивали, и на пол, как выстреленные, падали оранжевые угольки. Мама наклонялась и быстро, чтобы не обжечь пальцы, подхватывала уголек и бросала его обратно в печь...

На ледяном ветру я видел маму у горячей печки. И это видение согревало меня. Родное тепло оказывалось сильнее ледяного ветра.

В последнем письме мама подробно рассказывала о елке. Оказывается, в шкафу случайно нашлись елочные свечи. Короткие разноцветные, похожие на отточенные карандашники. На елке они горели, вздрагивая, и по комнате разливался ни с чем не сравнимый аромат стеарина и хвон. В комнате было темно, и только веселые блуждающие огоньки замирали и разгорались, и на темных ветвях тускло мерцали золоченые грецкие орехи.

Я лежал на снегу в тяжелой каске, в шерстяном, опущенном на лицо, как забрало, подшлемнике, в шинели, затвердевшей от мороза, а осколки снарядов плюхались в снег — большие, рваные куски металла. Вот один упал совсем рядом... Гори, го-

ри, елка! Мерцайте, позолоченные орешки! Хорошо, что где-то около мамы есть островок мира, где все по-прежнему. Тепло и спокойно. И мама в безопасном месте. И единственная ее тревога — это я.

Вот какой спектакль разыгрывался в моем сознании в жестких снегах военного Подмосковья — его подарила мне мама. Именно спектакль, легенда, сочиненная мамой в ледяном Ленинграде, в доме, где стекла были выбиты взрывной волной, а печка была мертва и белела в углу, как наметенный выюгой сутроб. Какая там елка, какие свечи! Это письмо мама писала, умирая от голода. Она не просто голодала. В нее стреляли голодом. Это был смертельный голод.

А я поверил героическому материнскому Театру, был слишком молод, не замечал, что буквы кривые, строки неровные, не догадался, что их выводила рука, лишенная сил, для которой перо было тяжелым, как топор.

Я верил, и в ответ на это письмо писал свои первые военные стихи:

Между стройных сосен корабельных,
По полям в пургу и снегопад
Две холодных рельсы параллельных
Убегают прямо в Ленинград.

Здесь давно колеса не гремели,
Над путями не клубился дым.
Рельсы поржавели, потускнели
И покрылись инеем седым.

Но я верю, пробегут недели,
Рельсы снова оживут тогда.
С шумом, с громом через все метели
Побегут на север поезда.

Ржавчина исчезнет, стает иней.
Ближние леса заговорят.
И меня две рельсы темно-синих
Возвратят обратно в Ленинград.

Мои стихи уже не застали маму. Она умерла в блокадном Ленинграде.

Таким был мой фронтовой Театр. Такой была эта театральная правда.

Боже мой!

Сморщенный прошлогодний листок по-прежнему лежал на жестком снегу в городском сквере, но уже не напоминал мне солдата с высоты птичьего полета. Он скорее походил на ребенка — блокадную девочку, у которой не хватило сил и она упала на снег. И никого не оказалось рядом, чтобы помочь ей подняться. Но сегодня рядом был я. И я нагнулся к листку, опустил на колени и стал дыханием отогревать его. Листок вздрогнул, шелохнулся, чуть-чуть зашуршал. И в этом шорохе мне послышалось простуженное, хриплое дыхание. И я позвал:

— Таня... Таня...

Каждый человек — главное действующее лицо в своем Театре.

Действующее лицо, но не герой!

Герой — это тот, кем восхищаешься, к кому тянешься, за кем хотя бы в мечтах хочешь следовать, идти. Не будешь же восхищаться самим собой, идти за самим собой! Смешно.

Сухой листок на снегу обернулся первой героиней мистерии, которую предстояло разыграть моему Театру, — блокадной девочкой Таней Савичевой. Я был готов вступить на сцену и открыть занавес, но инстинктивно почувствовал, что мне одному не справиться с этой задачей. Так рядом со мной появились два действующих лица. Вернее, это были не лица, а маски. Одна — с низко опущенными уголками скорбного рта, другая — с улыбкой до ушей. Они вышли на сцену и поклонились почтенной публике.

И взял художник в руки
Гусиное перо
И, вытирая слезы,
Назвал меня Пьеро.

Так представилась первая маска. И словно пародируя первую, чуть ерничая, в действие вступила вторая маска:

А я стоял под аркой
Разряжен, как павлин.
Поэт сказал: «Не каркай,
Ты будешь Арлекин».

Некоторое время маски с интересом разглядывали друг друга. Так осваиваются два незнакомых пассажира, очутившись в одном купе. Но они были масками и им нетрудно было понять правила игры — ведь в масках всегда есть что-то примитивное, однозначное, как белое и черное, никаких оттенков.

Моим добровольным помощникам в Театре все было внове. И они восприняли его, как игру, — заговорили, перебивая друг друга, и каждый старался забежать вперед:

- Мы верных два дружка.
- Я — грустный.
- Я — веселый.
- Артисты драмкружка.
- Освистанные школой.
- Я плачу.
- Я смеюсь, я весел.
- Я скучаю.
- Я на свиданье мчусь.
- А я дитя качаю.

Что дальше? Они вопросительно смотрели на меня, словно я был суфлером и должен был подсказать им текст. Я молчал: мне самому было любопытно, как поведут себя мои новые друзья дальше. Они решили, что самое время настроиться на философский лад.

— Говорят, противоположности сходятся. Это про нас. Мы совершенно не похожи, но оба необходимы для жизни. Без одного из нас жизнь станет неполноценной, половинчатой — так начал Арлекин.

— Мы такие разные, что иногда не понимаем друг друга, — поддержал его Пьеро, — но случается, что печальный заливается смехом...

— А весельчак — слезами, — подхватил Арлекин, — мы как бы меняемся ролями. Только маски остаются прежними — печальная и веселая.

— А когда мы меняемся ролями, — перебил Арлекина Пьеро, — происходит неразбериха: надо смеяться, а на глаза наворачиваются слезы. Смешно, правда?..

По ходу мистерии в конце диалога в руках у Арлекина появилась тетрадка. Ничем не примечательная тетрадка в косую линейку. Мои спутники еще не знали, что в Театре ничего не бывает случайным, даже сухой опавший листок... Арлекин вер-

тел в руках тетрадку, не зная, что с ней делать. Не придавал ей значения:

Обычная тетрадка
В линейку косую.
Одни примеры пишут,
А я слона рисую.
А я слона рисую
И девочку босую,
И девочку босую
В линейку косую.

Он произнес свой монолог, пританцовывая, делая ударение на рифмы — «Босую — косую — рисую». Пьеро же слушал его и пожимал плечами: все печальные люди — скептики.

Обычная страничка,
Где кляксы, как чернилка.
Глаголы здесь чудили,
Задачки с рельс сходили...

Пьеро театрально вздохнул и уронил голову на грудь.

Неугомонный выдумщик и весельчак Арлекин вырвал из школьной тетрадки страничку, ту самую, где «кляксы, как чернилка», и где «задачки с рельс сходили», проворно превратил его в бумажного журавлика и запустил незнаемо куда.

Бумажный Журавлик,
Бумажный Журавлик,
По небу плыви,
Как бесстрашный кораблик. Эт-ге!

Артисты входили в роль. Они шутили, пританцовывали, слова вылетали из них легко и весело, как разноцветные шарики. Так они понимали мой Театр.

Но они не знали еще о сухом листке на снегу и не подразумевали, что в руках у них не обычная школьная тетрадь, а завязка мистерии. И что в следующее мгновение, когда они перевернут страницу, все резко изменится.

Так оно и случилось. Пьеро взял в руки тетрадь и неожиданно прочел:

«Женя умерла 29 декабря в 12.30 часов утра 1941 года».

Что это значит? Может быть, эти слова попали сюда случайно совсем из другого спектакля? Они повернулись ко мне в

надежде, что я поправлю ошибку. Но я молчал, потому что никакой ошибки не было. Возникла мучительная пауза. «Женя умерла...» Эти слова не отзвучали, не пролетели мимо, а продолжали существовать, дрожали в воздухе...

И тогда мои спутники не выдержали, в первый раз забыли о своих масках, и на меня обрушились горячие вопросы:

— Кто эта Женя, которая умерла?

— Почему она умерла?

— Где это произошло?

— Что вообще происходило в мире 29 декабря 1941 года?

— Чья рука вывела эти страшные слова: «Женя умерла»?

Маски вопросительно смотрели на меня, и я обратил внимание, что грань между «я — грустный» и «я — веселый» нарушилась и в них появилось что-то схожее. Они ждали от меня ответа на свои недоуменные вопросы.

Я ответил одним словом, которое всю жизнь рядом со мной, а я не могу к нему привыкнуть:

— Блокада!

Песнь вторая

У каждого времени есть свои горячие слова. Но время проходит, и слова отступают в тень, забываются. Уступают место новым, более важным для нового времени.

Но слово «блокада» во все времена живет во мне. Оно не ослабевает, напротив, набирается сил, становится страшнее. От него веет смертью моих близких. Я был бы рад забыть его — не забывается, кровотоцит.

А для сегодняшних молодых людей «блокада» — слово из языка, который они не проходили. Или так проходили, что прошли мимо. Не запомнили.

Но Пьеро и Арлекин уже усвоили, что в моем Театре, как и в каждом театре, ничего не бывает случайным. И если прозвучало слово «блокада», то нельзя пропустить его мимо ушей, надо докопаться до смысла.

Мои спутники стали рассуждать, строить догадки:

— Красивое слово «блокада»,

Наверно, слетело с плаката?

— А может быть, в мире есть остров «Блокада»?

— А может быть, это название фрегата?

— А может, тайфун с катастрофой кровавой?

— А может быть, имя девочки кудрявой?..

Я понял, что на сцену моего Театра должен выйти персонаж, который лучше других объяснит сегодняшним людям, что такое «блокада». Передо мной в сознании прошла целая галерея блокадных образов: старушек с пергаментными лицами, парней, заросших щетиной и сгорбленных, как старцы, женщин с жертвенностью во взгляде, стариков, полуживых-полумертвых. Они прошли перед моими глазами, и каждый произносил посиневшими губами: «Я и есть блокада». Но я выбрал другой образ, который был ближе мне.

Я вспомнил о девочках, вчерашних школьницах, которые стали бойцами, солдатами и вместе с нами, мужчинами, очутились около зенитных орудий, чтобы защитить родной город от воздушных налетов. Их нежные лица еще не успели огрубеть от солдатской жизни. Девочки-солдаты еще не совсем отвыкли от дома и во сне жаловались маме на трудную жизнь. А потом шли на пост. Недоедали, недосыпали. Бедные мои!

Это им я посвятил стихи:

Пройдут года, и вот однажды вечером
Вдруг спросит дочка, перестав играть:
«А верно, мама, ты была ефрейтором
И не боялась из ружья стрелять?»

Ты дочку приласкаешь и пригреешь,
Посадишь на колени и тогда
Расскажешь ей про нашу батарею,
Про всех про нас, про трудные года.

Расскажешь ей, как мерзла на разведке,
Как исправляла линию в метель.
Покажешь ей со звездочкой беретку
И старую, потертую шинель.

А дочка тихой и серьезной станет,
Потертые погоны беребя,
И вдруг пилотку на себя натянет,
Чтоб быть хоть чуть похожей на тебя.

Теперь эти девочки даже не мамы, а бабушки.

Но я призвал одну из своих боевых подруг в свой Театр, чтобы мои спутники из первых уст узнали, что означает страшное слово «блокада».

Девушка-зенитчица появилась в нашей мистерии в серебристой от мороза шинели, в каске с ремешком под подбородком. Из обрамленного инеем «окошка» подшлемника, щурясь от света, смотрели воспаленные глаза. Она, видимо, только что смешалась с поста, и льдинки на ресницах не успели растаять.

Блокада! Блокада! Блокада!
Погасли огни Ленинграда.
В снегу от разрывов воронки
Чернеют, как стаи вороньи.

Блокада. Блокада. Блокада.
У Нарвских ворот баррикада.
На фронт уходящие танки.
И с гробиком детские санки.

Блокада. Блокада. Блокада.
И голод, и ноги, как вата.
И смерть каждый день на пороге.
А в школе сегодня уроки.

Уроки с тетрадками, с мелом,
Уроки под страшным обстрелом.
Уроки, как вызов блокаде.
И выстрел... и кровь на тетради.

И тут девушка-зенитчица заторопилась: может быть, до нее долетел сигнал боевой тревоги. Она натянула шерстяной подшлемник, с которого успел стаять иней. Водрузила на маленькую голову тяжелую, гладкую, как полушарие, каску, поправила на онемевшем плече ремень винтовки и пошла на свою зенитную батарею, вмерзшую в землю сквера у Исаакиевского собора.

Ничего не изменилось, ничего не произошло с Пьеро и Арлекином, на то они и маски, а не живые лица. Одна маска продолжала улыбаться, другая — по-прежнему хмурилась. Но я почувствовал, что внутри, под личинами масок, уже шла напряженная работа: страшный мир, о существовании которого они даже не догадывались, приблизился, коснулся их. И то, что всегда казалось им далекой историей, не имеющей к ним отношения, вдруг стало жесткой реальностью.

«И выстрел... и кровь на тетради».

Маски не изменились, однако в стихах, которые так весело,

так озорно звучали в начале спектакля, произошли странные сдвиги. И вместо веселых разноцветных шаров возникли тяжелые, черные:

Тетрадка, тетрадка
В линейчку косую.
Одни примеры пишут,
А я войну рисую.
И смерть идет с косою
В линейчку косую.

Страница перевернулась. Знакомый простуженный голос как бы в подтверждение стихов произнес: «Бабушка умерла 25 января в 3 часа дня 1942 года».

Маски замерли. Окаменели.

В мой Театр не приходят художники и на огромных холстах не рисуют дома, скверы, улицы, храмы, вокзалы, хибары. Плотники не стучат молотками, не строят декорации. В моем театре — все настоящее, натуральное.

В Ленинграде на Васильевском острове всегда ветрено. Счет дождь. Сыплет мокрый снег. Случаются наводнения. И плывет этот остров, как корабль: слева — Нева, справа — Невка, впереди — открытое море.

Как все это воспроизвести на сцене моего Театра?

Нет, мне не пришлось рисовать на холсте Вторую Линию Васильевского острова с невысокими, выкрашенными охрой домами, в одном из которых под номером «13» жила Таня Савичева. И не потребовалась сочная киноварь, чтобы изобразить отблеск пожара в четырех окнах первого этажа — в Таниных окнах. Дом в своем естестве возник на сцене моего Театра. Обшарпанный — такого и не нарисуешь, с мертвыми трубами временных печурок-«буржеек», как стволы орудий торчащими из окон. Рядом булочная, в подвале керосиновая лавка. Почему же не пахнет ни хлебом, ни керосином? Ни того, ни другого нет. Война. Блокада.

Скрипнула дверь — мы вошли в подъезд. Из глубины лестничной клетки в лицо пахнуло склепным холодом. Одна ступенька, вторая, третья... До первого этажа не так уж много ступенек. Но бабушка, когда была жива, поднималась очень медленно — для нее это была целая история — подняться к себе на первый этаж. Мы же взлетели на второй этаж стремительно. И перед нами возникла Танина комната:

Комната. Окно зачеркнуто крест-накрест,
Чтоб стекло от взрыва уберечь.
Холодно. Как будто двери настежь.
Мертвая, нетопленая печь.
Память собирает все в копилку:
Инеем покрыто полстены.
Превратилась в тусклую копилку
Электрификация страны.

Когда мы вошли в комнату, Таня даже не оглянулась. Она в больших валенках с чужой ноги. Длинный ватник до колен и платок, завязанный за спиной крест-накрест. Бледное лицо. Обветренные губы, руки в варежках. А движения медленные, словно каждое стóит неимоверных усилий. Ах, как она напоминала тот серый опавший листок на снегу! И только глаза, смотрящие из-под платка, — живые. Когда Таня заговорила, стало понятно, кому принадлежит хрипловатый, простуженный голос.

Копилка — мой фонарик.
Лица не различишь.
Да здравствует сухарик!
Но он мне снится лишь.

Ни маковой росинки.
Зато дают бурду.
И плавают крупинки
В тарелке, как в пруду.

Таня безразлично посмотрела на нас, словно не верила в нашу реальность. И сказала, неизвестно к кому обращаясь:

— А куропатка в день съедает всего 22 грамма. Счастливая.

Мы сперва не поняли, в чем счастье куропатки. И причем здесь вообще куропатка. А Таня подошла к столу и склонилась над тетрадкой, над той самой тетрадкой, которая в начале спектакля появилась у моих помощников.

Мои спутники, Пьеро и Арлекин, с острым любопытством рассматривали блокадную комнату: никогда не видели бумажных крестов на окнах, печурок посреди комнаты, покрытых инеем стен, — но еще не почувствовали всей трагедии города, а девочка, скрипящая перышком, не вызывала у них особых чувств. Подумаешь — пишет. Но стоя за ее плечом, они наблюдали,

как пишет, замерзая,
дрожащая рука,
страда и дерзая,
страничку дневника.
Строка... еще строка...

Мистерия набирала силы.

В печном дымоходе, пересекающем всю комнату, и сквозь окно, выходящее на улицу, загудел ветер, словно заиграл на трубе. И печь на мгновение ожила:

Я сказала ленинградке:
«Ты сожги свои тетрадки
И погрейся у огня».
Не послушалась меня.
Все простуженно сопела,
И перо ее скрипело.
Сотрясали взрывы дворик.
Кто-то встретил смерть свою.
Пишет маленький историк.
Пишет летопись свою.

Таня писала свою летопись, от всего отрешилась и писала: «Лека умер 17 марта в 5 часов утра 1942 года». Потом положила перо — тяжелое! — и вслух подумала: «Очень трудно писать слово умер. У Леки был свой угол, отгороженный шкафом. Он там чертил. Зарабатывал деньги черчением. Он был тихий и близорукий, ходил в очках. И все скрипел своим перышком, рейсфедер оно называется.. Лека умер... Умер Лека...»

Она уронила голову и долго не могла ее поднять. И все, что происходило дальше, было как во сне. Этот сон снился моим спутникам. Они были и как бы не были в этом страшном блокадном мире.

Мне вдруг показалось, что я попал к себе домой, что все кругом хорошо знакомо. Белая изразцовая печь, книжный шкаф, кушетка с тремя подушками и с пружиной, которая поет, когда садишься. А если подойти к окну, то можно увидеть нашу улицу... Нет, нельзя ничего увидеть — иней толщиной в палец покрыл стекла. Мне показалось, что это не девочка склонилась над тетрадкой, а мама пишет мне письмо о печке со стреляющими угольками, о елке с золочеными орешками. А когда в пузырьке замерзали чернила, мама отогревала их своим дыхани-

ем. Теперь я понял, как трудно писать голодному о сытости, окочевевшему о тепле.

Здесь была мамина блокада, мамин мученический крест, терновый венок ее жизни.

О, если бы я мог опустить занавес, прервать этот страшный спектакль. Но действие продолжалось — от своего Театра никуда не деться, как нельзя уйти от самого себя.

Мистерия продолжалась.

Девочка слаба. Подняться силится.
Падает. Поднимется едва ли.
Расскажи нам, старая чернильница,
Как в тебе чернила застывали.
Как о черный лед стучало перышко,
Перышко — голодный клюв воробышка.
Расскажи, как можешь, печка бывшая,
Как ты в дни блокады горевала.
Как стояла, про огонь забывшая,
И жилье уже не согревала.
Но молчит чернильница.
Умерла учительница.
Печь к теплу дорогу не покажет.
Только хлеб живой. Он все расскажет.

Мистерия не только рассказывает — она оживляет неодушевленное. Впрочем, разве можно хлеб причислить к неодушевленным предметам. Тем более блокадный хлеб, который был единственным источником жизни, на который молились.

И хлеб стал действующим лицом мистерии.

Я — хлеб. У меня есть душа.
Я — хлеб. И мне больно бывает.
С березы листва опадает, шурша,
А хлеб каждый день оживает.

Я слышу осколков удушливый свист.
Я — ломтик, прозрачен и тонок.
И держит меня на ладони, как лист,
Голодный блокадный ребенок.

Я — хлеб. У меня есть душа.
Хотя я тонюсенький ломтик,
Ко мне приближается еле дыша
Голодный ребяческий ротик.

Большие глаза. Цвет лица восковой.
С трудом поднимает ручонку.
Я — хлеб. И пока я живой,
Не дам умереть я ребенку!

Я — хлеб. Я — живой. Не горю я в огне.
Я ваш, я ржаной, самый близкий.
И тянутся детские губы ко мне,
Как будто к груди материнской.
Я — хлеб.
У меня есть душа.
Я хлеб...

Хлеб не ушел, не покинул дом, только превратился в тоненький ломтик, прозрачный, как кленовый листок. Опять опавший листок! Ломтик лежал на Таниной ладони. Не просто хлеб — блокадный паек. И Таня начала отщипывать и есть, как никто из вас, слава Богу, никогда не ел хлеб.

Она повернулась к нам и преподала жестокий блокадный урок.

— Вы знаете, как едят блокадный хлеб? Нет? Я раньше тоже не знала... Я научу вас. Надо положить пайку на ладонь и отломить крохотный кусочек. И долго-долго жевать его, глядя на оставшийся хлеб. И снова отломить. И снова жевать. Надо как можно дольше есть этот крохотный кусочек. А когда весь хлеб будет съеден, подушечками пальцев соберите на середину ладони крошки и прильните к ним губами, словно хотите поцеловать их... Чтобы ни одна крошечка не пропала... ни одна крошечка.

Таня замерла, разглядывая пустую ладошку, словно пытливо проверяла: не осталось ли крошечки. А потом, как бы не своим, неживым голосом прочла новую строку из страшного дневника: «Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи 1942 года... Дядя Леша 10 мая в 4 часа дня 1942 года...»

Во второй фразе она пропустила слово «умер». Видимо, это слово было ей не под силу. А потом она запела, как в мирное время, только потише. Она вообще любила петь, потому что когда поешь, перестаешь заикаться, а Таня заикалась...

Жура-жура-журавель,
Журавель-журавлик.
Растопил снега апрель,
И плывет кораблик.

Поднят нос у корабля,
Паруса в порядке.
А у журы-журавля
Крылья из тетрадки.
Затерялся он во мгле,
Далеко от школы,
Вместо перьев на крыле
Вечные глаголы.

За окном завывали сирены. Таня замолкла. А мои спутники не сразу поняли, в чем дело.

— «Скорая помощь», — вздохнул Пьеро.

— Может быть, пожарные проехали? — заметил Арлекин.

Но «пожарные проехали», а сирена продолжала надсадно звучать рядом.

И тут загрохотало, зазвенели стекла. Это ударили зенитные орудия.

— Может быть, салют? — дрожащим голосом произнес Пьеро, и я понял, что мальчик сам себя пытается обмануть, вернее, ввести в заблуждение свой страх.

Раздался оглушительный треск. Стены вздрогнули, дом тряхнуло. Люстра закачалась, как при землетрясении. По потолку, как молния, пробежала кривая трещина. Упала штукатурка. Мои спутники забились в угол. Замерли.

— Штукатурка не страшно, — предупредила Таня, — когда летят осколки стекла — опасней.

Она была опытней двух моих спутников.

— Я думаю, бомба попала в Неву. Дома не пострадали, иначе был бы пожар.

Все происходящее действовало на нас по-разному. Таня держалась спокойно: человек ко всему привыкает, даже к бомбежке. Пьеро и Арлекин молча жались друг к другу — поняли, наконец, что происходит, — и постарались оставаться артистами в спектакле. Я же был напряжен до предела. Я знал, что значит грохот стрельбы и чем может обернуться взрыв бомбы. Все это я усвоил давно, но успел позабыть. Однако есть такие страницы в памяти, которые оживают мгновенно и отдаются болью. У меня похолодело на сердце. И когда грохот утих, я сам себе прошептал: «Кажется, пронесло».

Таня посмотрела на Арлекина и в первый раз улыбнулась:

— Ты откуда такой смешной? Ты всегда смеешься? Даже когда больно, улыбаешься?

— Я — Арлекин,— буркнул мой дружок.— А если тебе не нравится улыбаться, то посмотри на моего друга.

Таня тут же перевела взгляд на Пьеро. И снова улыбнулась.

— А ты похож на нашего учителя рисования. Он тоже всегда мрачный. Никто не видел его улыбающимся.— А потом Таня перестала улыбаться и спросила:— Ты голодный? Голодные тоже мрачные.

Пьеро покачал головой и отвернулся.

Снова послышался грохот. Словно над городом в своей колеснице с квадригой коней мчался Аполлон. Красота спешила спасать мир. Не поздно ли?

Есть такой театральный закон: если в первом акте на сцене появляется ружье, позднее оно обязательно должно выстрелить. И если в начале спектакля Арлекин вырвал лист из тетради, сложил бумажного журавлика и взмахом руки запустил его, то Журавлик обязательно появится. Самым неожиданным образом, при самых странных обстоятельствах.

Так в ледяной, покрытой инеем блокадной комнате появился бумажный Журавлик. Он сделал круг и шурша, как опавший листок, опустился к ногам Тани Савичевой.

Девочка вздрогнула. Но увидев Журавлика, успокоилась, не удивилась.

— Журавлик? Как ты сюда попал, Журавлик?

— Я услышал, что тебе приходится трудно, вот и прилетел.

— Тебя могли сбить. Слышишь, как гремят зенитки. А у тебя бумажные крылья. И одно крыло уже подбито, опущено.

— Меня нельзя уничтожить: пока живы дети, всегда будут бумажные Журавлики.

— У меня нет для тебя даже крошечки хлеба.

— Бумажным журавликам не нужен хлеб. Хлеб нужен тебе.

— Откуда ты прилетел?

— Из твоего будущего, Таня.

— У меня нет будущего.

— Что же, ты навсегда останешься девочкой.

— Блокадной девочкой.

— Но снаряд может пролететь мимо. И бомба не попадет в твой дом.

— Не все ли равно, от чего умирать. Может быть, от голода еще больнее.

— Давай улетим вместе на Большую землю, там есть хлеб, там жизнь...

Но Таня грустно посмотрела на Журавлика и покачала головой.

— Я не могу улететь без мамы,— сказала она.

Голос Тани как бы отделился от нее, стал чужим — хриплым, простуженным.

«Мама умерла 13 мая в 7 часов утра 1942 года... Савичевы умерли... Умерли все... Осталась одна Таня...»

Ее голос оборвался. Но под сводами ледяной комнаты, как эхо, зазвучали другие голоса, такие же приглушенные, охрипшие:

— Осталась одна Валя... Остался один Вадим... Осталась одна Катя... Женя... Кира...

Тане откликались дети такой же судьбы, и их имена разносились по свету. А потом они захлебнулись, умолкли. И в давящей тишине, как неторопливые удары метронома, застучало сердце города, который через силу жил: тук... тук... тук...

И вдруг с болью и отчаянием Таня позвала:

— Мама...

Она не могла крикнуть — не было сил — она прошептала: «Мама».

Но Мама услышала. В тишине раздались тихие шаги. Скрипнула дверь. Я поднял глаза — и вздрогнул: в дверном проеме стояла моя Мама. Моя! Я не мог ошибиться! Только она почему-то стала ниже ростом, совсем маленькая. А может быть, это я так вымахал за годы разлуки? Нас окружал ледяной холод, но Мама почему-то была в легком платье с цветочками, в таком я видел ее в последний раз...

Она вошла в комнату, даже не взглянув в мою сторону.

Я же неотрывно смотрел на Маму, хотелось броситься навстречу, прижаться к ней, спрятать голову на ее груди, как в детстве. Но я не мог шевельнуться, не мог произнести ни слова. На какое-то мгновение я скосил глаза на Таню. Она тоже была в оцепенении, только глаза ее расширились, посветлели. Я почувствовал, что она приняла мою Маму за свою. Но Мама так же молча прошла мимо Тани, и я услышал Мамин голос:

Я по Ленинграду не бреду
Не бреду устало.

Я свою блокаду
Для себя прорвала.

Не смотрю я в небо:
Не летят ли гады?
Не ищу я хлеба:
Горек хлеб блокады.

Я молчал. Таня силилась что-то сказать и не решалась. Видимо, в голове у нее все перепуталось. И она одними губами произнесла:

— А куропатка съедает в день всего 22 грамма.

Наверное, эта фраза, как шифр, скрывала что-то важное, о чем необходимо было сообщить Маме.

Я же так и не проронил ни слова: был поражен, что мы с Таней одну и ту же женщину приняли за свою Маму. Кто из нас ошибался? А может быть, в этой странной мистерии, которая разыгрывается в моем Театре, одна Мама для всех?

Пьеро сжимал в руках тоненькую школьную тетрадку. Арлекин уронил голову на грудь. Маска со смеющимся ртом выглядела нелепо — смеялась, когда надо было плакать. Но в эту минуту маски моих помощников снова стали маленькими щитами, которые надежно закрывали их лица. Лицо-то можно закрыть личиной, а как защитить сердце?

— Почему ты не предупредил нас? — глухо спросил Пьеро. — Мы думали, что это простая тетрадь.

— Давай уйдем отсюда! — предложил Арлекин. — Ведь это Театр...

— Отсюда не уйдешь, — вздохнул Пьеро. — Этот Театр в каждом из нас. А разве можно уйти от самого себя?

Эти слова он произнес с горечью.

И глядя вслед уходящей Маме, сказал:

— Уйти из Театра — значит изменить самому себе и... своей Маме.

Может быть, он тоже принял ее за свою Маму.

Нет, они не ушли, эти два моих помощника, и не сорвали с лица маски. Одна маска хмурилась, другая смеялась. Но я чувствовал, что под масками по лицам текут слезы. Те самые, невидимые миру. Миру-то они не видны, но они твои... слезы:

— А куропатка съедает в день всего 22 грамма.

Песнь третья

Если бы в моем Театре был занавес, на нем бы, как мхатовская чайка, был бы вышит опавший лист. Там на заснеженном сквере лежал дубовый, а теперь нам предстоит найти каштановый — большой, разлапистый, цвета бронзы. Похожий на перо жар-птицы. Опавшие листья — человеческая память! Следы жизни.

Человеческая память напоминает архив после разгрома, где все дни, события, годы жизни свалены в одну кучу. Самые дорогие воспоминания твоей жизни порой пропадают здесь, как в пресловутом спецхране. Но мой Театр имеет доступ в этот спецхран, он бросает вызов забвению и возвращает к жизни то, что особенно дорого людям, дорого всегда.

В моем Театре оживает не только моя жизнь — она и не заслуживает своего театра — я возвращаю к жизни тех, кого уже нет: их жизнь продолжается в моем Театре. Театр приближает их к нам.

Не покидайте мой Театр! Ведь ни один театр в мире не может существовать, если зрительный зал пуст и если у входа никто не спрашивает: «Нет ли лишнего билетика?»

Таня Савичева отступила в тень. Сейчас на сцену выйдет другая девочка — Анна Франк.

Она еще не появилась из-за кулис, а два моих спутника, Пьеро и Арлекин, уже рядом. Они входят в роль, настраиваются, как оркестр перед спектаклем:

Милые ребятки,
Не играйте в прятки.
Ведь играют в прятки,
Если все в порядке.

И Арлекин с поклоном продолжает:

Пальцы в перчатке
Играют в прятки.
В раковину устрица
Прячется, как узница.
И не обнаружена
Боль ее — жемчужина.

И вот тогда откуда-то донесся сдавленный, дрожащий голос:

Я в прятки не играю,
Я прячусь от врагов.

Я каждый день сгораю
И возрождаюсь вновь.

Место действия — Амстердам! Вращается глобус. Как опавшие листья, шуршат листки календаря. Мы идем вдоль рек и каналов. Вода в них зеленоватая. Маленькие буксирчики, как жуки-плавунцы, снуют взад-вперед. По мостовой мчатся велосипедисты. Амстердам — город велосипедов. Все — дети, взрослые, старики — жмут на педали, словно общими усилиями заставляют вертеться землю. Узкие дома стоят тесно, как солдаты в строю. Черепичные крыши напоминают чешую красных рыб. Мы ищем убежище Анны Франк. Выясняется, что мои спутники не понимают, какая разница между убежищем и домом.

— Убежище — это берлога в дремучем лесу? — спрашивает Пьеро.

— И в ней живут медведи, — шутит Арлекин и умолкает, поняв, что сейчас шутки неуместны.

— Когда человек скрывается от преследования — любой дом превращается в убежище. Иногда такой дом найти труднее, чем берлогу в лесу, — объясняю я, и мы прибавляем шагу.

— Как же мы найдем это убежище? Где оно?

Эти вопросы повисают в воздухе.

Но время открывает тайны, со временем они утрачивают свой смысл — тайное становится явным. То, что люди чести хранили под страхом смерти, теперь знает множество людей. Спросите любого полицейского голландской столицы, и он укажет вам дом Анны Франк. Убежище снова стало домом, правда, в нем уже нет прежних жильцов...

Мы не просто идем по Амстердаму, мы перемещаемся во времени: ищем не только дом, но и жестокое время Анны Франк. А дорогу туда не укажет ни один полицейский.

Встречаются и расходятся каналы, по набережным и мостам мчатся велосипедисты — жмут на педали, крутят землю в обратную сторону. Меняются времена года: на смену весне приходит зима, зиму сменяет осень. Снег, дождь, снег. Меняются лица: старики становятся молодыми. И вдруг барабанная дробь, грохот:

Фашистские солдаты
Вступают в Амстердам.
На шеях автоматы,

Трам-там-там!
И свастика паучья,
И проволока колючая,
И на стене приказ:
Комендантский час.

И я отчетливо понял, что нахожусь в тылу врага в незнакомом городе, занятом фашистами. Без документов, без оружия, без легенды — кто я и откуда. И еще не один — с двумя парнишками, с Пьеро и Арлекином, которые знают о войне только по фильмам, и поэтому жизнь во вражеском тылу для них увлекательное приключение. Мне стало не по себе, а они с интересом смотрели по сторонам. Рассчитывали, что маски защитят их от всех превратностей судьбы? Они шли, стараясь не отставать от меня, «артисты драмкружка, освистанные школой». А для меня это был реальный мир моей юности. Никаких театральных условностей: война!

Сыпал мокрый снег — из серой бездны неба медленно опускались крупные хлопья, словно кто-то крошил курам белый хлеб: цып-цып-цып. Подлетая к зеленоватой воде каналов, снег у самой воды зеленел. Такой это был зеленый снег!

И вдруг откуда-то снова донесся сдавленный, уже знакомый голос:

Я слепну, как слепнет старуха.
В глазах от бессилья темно.
И слушает мир мое ухо —
Мое слуховое окно.

Вокруг столько крыш, столько слуховых окон! Которое из них окно убежища, откуда был послан этот сигнал? Мосты, каналы, площади, велосипедисты — им снег не помеха — мы спешим, выбиваемся из сил. Я забываю об опасности. Откуда только хватает сил! Ах, да я же молодой, время вернуло меня в юность, поэтому нет одышки.

Неожиданно рядом с нами вырос кирпичный дом, он кажется красным от чакала, наверное, снежинки тают, касаясь его стен. И вдруг откуда-то сверху, непосредственно с неба, обрушивается удар колокола. Еще удар — мы задираем головы — дом оказывается башней. Она устремляется ввысь, и верхние этажи пропадают в мутном месиве снега. И кажется, колокола звенят прямо в небе. И обрушиваются на землю.

— Так это же Восточная башня,— делаю я открытие,— значит, мы где-то близко. Вперед!

Слева — канал. Справа — ряды узких домов, неизменно жмущихся один к другому. Черепичные крыши со слуховыми окнами. Старинные блоки с цепями: когда-то с их помощью разгружали суда.

И вдруг на снегу — сухой листок. Большой, разлапистый, с ребрышками и прожилками. Это опавший листок каштана, похожий на оброненное перо жар-птицы. Сухой листок — тайный знак: каштан растет во дворе Аниного дома — значит, здесь убежище Анны Франк!

Крадучись, подходим к крыльцу. Стараясь быть незамеченными, проскальзываем в дверь. Темный коридор уперся в шкаф-тупик. Куда дальше? Сезам, откройся! Шкаф со скрипом поворачивается — это потайная дверь. Мы заходим. Шкаф-дверь закрывается. Перед нами крутая лестница — в Голландии все лестницы крутые: экономия места. Поднимаемся на этаж... еще этаж. И вот убежище. Тяжело дыша, останавливаемся и замираем.

Чердак. Слуховое окно.

Бесцветного неба пятно.

А ночью звезда чуть заметная.

И снова неделя бесцветная.

Где Анна? Терпеливо ждем. Тихо. Слышно, как стучат сердца. Все трое думаем об одном:

Глухой чердак. Убежище. Тюрьма.

Здесь медленно сойдешь с ума.

Анна Франк появилась в луче лунного света. На ней был какой-то странный наряд: голубой хитон, перешитый из маминой нижней юбки. Сверху сборки. На груди бант. В таком хитоне танцуют балерины. Но у Анны на ногах вместо пуант обыкновенные спортивные туфли. Скрестив на груди руки, она зябко обнимает себя за плечи. Может быть, только что участвовала в каком-то странном спектакле и прямо со сцены шагнула сюда, в холодную чердачную каморку со скошенным потолком.

Анна не удивилась, увидев в убежище незнакомых гостей, а может быть, приняла нас за действующих лиц своего спектакля?

— Вы слышите веселую музыку? — спросила она. — Это в соседнем доме играет радио. Идет передача для счастливых. Вы не знаете, есть где-нибудь передачи для несчастных? Создается впечатление, что во всем мире живут одни счастливые... Всюду музыка! Фашисты расстреливают людей под оркестр. Вы не знаете, под музыку умирать веселей?

Анна говорила не умолкая, видно, ей давно не приходилось видеть новых людей, хотелось выговориться. А в слуховом окне был виден клочок неба, побеленные морозом ветви огромного каштана и вдали, в кисее метели, как призрак вырастала кирпичная башня с часами. Мы молчали.

— Люди могут понять и пережить чужое горе, если воспринимают его как свое. Я вам не кажусь старухой? Брюзгой?

Мы переглянулись. Пьеро хмурился, Арлекин бессмысленно улыбался. А какое выражение лица было у меня?

Нас выручила Снежинка, залетевшая в чердачное окно и ставшая участницей нашей мистерии.

Я — Снежинка.

Я — маленький атом.

Я ложусь на крыльцо

И на каски солдатам.

Где начало мое — там конец.

Я в окно залетаю, как глупый птенец.

Я к тебе залетела в окно слуховое,

Принесла с собой запахи воска и хвои.

И рождественской елки свеченье

Я тебе принесла в заточенье.

Я одна, но почувствуй —

Нас много до жути.

Опускается снег на большом парашюте

И земли не коснувшись,

Все кружится, кружится.

Я — Снежинка.

Я белое кружево.

Снежинка недолговечна, как нечаянная радость. Она растаяла, исчезла, но, видимо, белая резная звездочка сохранилась в сознании Анны.

От холодной звездочки почему-то исходило тепло. И Анна снова закружилась в танце, а потом подплыла к Пьеро и спросила:

— Почему ты такой хмурый? Ты, наверно, еврей и боишься фашистов?

— И вовсе я не хмурый,— выдавил из себя Пьеро.

И тут взгляд Анны упал на Арлекина:

— Что ты улыбаешься? Ничего смешного нет.

— Да не улыбаюсь я! — запротестовал Арлекин, и я почувствовал, что ему очень хочется сорвать маску, но Анна схватила обоих за руки и втянула в свой танец.

Арлекин — теперь его штатная улыбка до ушей была как нельзя кстати — воскликнул:

Ты собралась на бал?
Мы очень рады, Анна!
Ты слышишь, за стеной
Играет фортепьяно?
Сейчас зажгут огни,
И окна распахнутся.
Ты мне в глаза взгляни —
Мои глаза смеются.

И Анна, поверив улыбке маски, ответила, танцуя:

Ах, музыка и смех воображение дразнят.
Мне кажется, сейчас придет веселый
праздник!

Пьеро и Арлекин кружились в танце. Они не понимали, что этот танец был для Анны боем, который она давала безысходности заточения, а красота этого танца была красотой, спасающей мир.

Сколько раз в минуты отчаянья Анна разыгрывала в убежище спектакли, чтобы удержаться, не поддаться отчаянию. Выстоять! Это был ее подпольный Театр, Театр для самой себя. Сейчас на сцене этого Театра появился еще один персонаж — Праздник. Он, видимо, знал тайну убежища, поднялся на чердак, отворил дверь и предстал перед Анной в образе седого благообразного старичка в черном сюртуке, с котелком на голове. Острая бородка была вызывающе поднята, как бы прокладывала ему путь. В руках он держал хрупкую скрипочку и смычок.

Я — веселый праздник Пурим.
Посидим, побалагурим.
На столе такая штука —
Фаршированная щука.

Как ледок хрустит маца.

Ламца-дрица-аца-ца!

Я — старинный праздник Пурим,

Прохожу сквозь стены тюрем.

Я — частица мироздания.

Я — улыбка сострадания,

Я — дающий отдых слезам,

День, прожитый под наркозом.

Хейби, Анна, встретим Пурим,

И лукаво глаз прищурим.

Старичок артистично положил скрипку на плечо, взмахнул прутиком смычка, словно подстегнул невидимых лошадей, и заиграл. Он играл в полную силу, не боясь, что с улицы услышат фашистские патрули. Играл как в мирное время. Анна и два ее кавалера — Пьеро и Арлекин — кружились в танце и, казалось, в самих масках произошли некоторые перемены: Арлекин улыбался шире, а Пьеро хмурился меньше. Вот какими они стали, «артисты драмкружка, освистанные школой».

А я отчетливо понял — в этот миг красота оказалась сильнее войны. Маленькая победа! Она вытеснила мрачные думы о том, что в любое мгновение сюда могут нагрянуть фашисты. Страдание затихло, как затихает боль. Музыка заполняла чердак. Смычок взлетал и опускался, едва касаясь струн, словно они обжигали. Дети кружились в танце. Маски стали карнавальными масками...

И вдруг в такт мелодии послышались далекие удары — шаги. Маленький праздник — островок мира среди большой войны — насторожился, стал затихать, сворачиваться. Исчезли улыбки. Только маска Арлекина продолжала механически улыбаться. Шаги приближались. Смычок в руке старичка повис в воздухе, танцующие остановились, не завершив па. Теперь шаги звучали как удары молота, как шаги каменного командора, спешившего наказать Дон Жуана. Но когда дверь от удара ноги распахнулась, вошел не командор, а слово, материализовавшееся в краснорожего громилу с железным голосом. В мистерии и такое возможно. Слово — «фашист».

Я здесь. Я явился. Вот он.
Стучусь я в дверь и в окно.
Ферботен! Ферботен! Ферботен!
Значит за-пре-ще-но!

Ферботен — больным лечиться,
Здоровым — ходить в кино.
Еврейским детям учиться
Ферботен — запрещено!
Ферботен смотреть на небо
Людам низших сортов.
Вкус молока и хлеба
Не для еврейских ртов.
Добытое кровью, потом
Отнято, отменено.
Жить евреям ферботен,
За-пре-ще-но.

Он повернулся и, высоко поднимая ногу в блестящем сапоге, ушел прочь, растворился во мраке. И долго еще в воздухе дрожало эхо этого проклятого слова, принявшего образ человека. Человека ли?

Да, это был призрак, а призраки, как известно, не причиняют зла. Но праздник погиб. Музыка умолкла и не оживала. А старичок со скрипочкой развел руками — что я могу поделывать!

— Как хорошо мне жилось в вашей мистерии, — сказал он грустным голосом, — но теперь жизнь человека как снежинка: дохнут погорячей — и растает. Прощайте, люди!

Он повернулся и, сутулясь, пошел прочь. И когда он повернулся спиной, на его черном сюртуке мы увидели желтую шести-конечную звезду и слово «юде», что означает «еврей».

— «Боже, утоли печаль мою», — одними губами произнесла Анна, и ее слова прозвучали как молитва. Это были слова из Библии. И вдруг, подумав совершенно о другом, она сказала: — У меня был товарищ, его в школе звали «Защитник лягушек». Он всем доказывал, что лягушки очень полезные, очень красивые существа, и защищал их. Как жаль, что защитники лягушек не могут защитить людей.

— Говорят, есть лягушки величиной с кошку, — невпопад сказал Арлекин, и остренькая на язык Анна, блеснув глазками, спросила:

— А величиной с человека бывают?

Лягушки отвлекли моих друзей от тяжелых дум, и Анна, кажется, забылась. Но в это время на лестнице снова послышались шаги. На этот раз легкие, крадущиеся.

Анна вздрогнула:

— Слышите?

— Анна, если придут фашисты, мы задержим их, а ты спасайся. Ты можешь вылезти на крышу через слуховое окно... — предложил Арлекин.

А у Пьеро было на уме совсем другое:

— Анна, почему фашисты хотят тебя схватить? Ты взрывала мосты? Ты расклеивала по городу листовки? Ты стреляла в них?

Анна покачала головой.

— Что они от тебя хотят? — допытывается Пьеро. — Почему они все время рядом с тобой, не отступаются от тебя даже ночью? Ты в чем-нибудь виновата перед ними? В чем твоя вина?

Анна как-то странно посмотрела на нас, в этот миг глаза ее были большими и темными, словно она испытывала боль.

— Моя вина в том, что я еврейка, — одними губами произнесла она.

— Какая же это вина, если ты родилась такой? — спросил Пьеро.

— Ну и что, что еврейка, — заволновался Арлекин. — Какая разница? Я — русский, Пьеро — армянин. Не все ли равно?

— Фашистам не все равно, — глаза Анны не отрывались от двери: шаги приближались. — Есть люди, которые считают, что если сосед несчастен, то сами они от этого будут счастливее. Если один народ несчастен, другой сразу заживет лучше.

— Так надо объяснить им! — воскликнул Арлекин. — Они чего-то не понимают!

— Их не убедишь. Они возвышаются, унижая других. Но это им только кажется, что они возвышаются. Они падают в бездну и вслед им летят человеческие проклятья.

— Идем с нами отсюда! — решительно предложил Пьеро.

— Мы спасем тебя! — поддержал товарища Арлекин.

— Я не могу, — сказала Анна, — я уйду, а как же Петер?

— Петер? Кто это Петер? Он тоже скрывается в убежище? — сразу столько вопросов задал Анне Арлекин.

— Мы возьмем с собой Петера... если он хороший парень.

— А как же папа и мама, и сестра... и товарищи по беде... Нас так мало и так много. Разве вы можете всех спасти?

— Всех мы, наверное, не сможем, — согласился Пьеро.

— Я не могу оставить их. Это будет предательством.

Шаги приближались. И наконец замерли у самой двери.

Все в убежище затаили дыхание.

— Значит, нас выследили... фашистские ищейки,— тихо произнесла Анна...— Вылезайте в окно, на крышу. Спрячьтесь на чердаке соседнего дома. Скорее!

— Мы никуда не уйдем,— был ответ.

Я не понял, кто из моих спутников ответил Анне, но каждый из них мог так ответить. Дверь медленно отворилась.

Вместо фашистов на пороге стояла улыбающаяся девочка. Она обвела всех взглядом, а увидев смешную маску Арлекина, даже прыснула в кулак.

— У вас здесь маскарад? — спросила она.— Как забавно!

— Кто ты? — сухо спросила Анна.

— Ну вот! — девочка скривила рот.— Ты меня прекрасно знаешь и не узнаешь. Может быть, у тебя в целом свете нет подруги ближе меня.

— Анна, это действительно твоя подруга? И ты не узнаешь ее? Смешно,— воскликнул Арлекин.

— Не вижу ничего смешного,— заговорил Пьеро.— Или у Анны что-то с памятью. Или это никакая не подруга.

— Я ее никогда в жизни не видела,— растерянно сказала Анна.

Теперь все выжидающе смотрели на незнакомую девочку.

— Эх ты! — девочка с укором взглянула на Анну.— Я — Кити.

— Кити?!

Она подошла к госте и положила ей руку на плечо.

— Я представляла тебя совсем другой. Но как ты узнала меня? Ведь прежней Анны нет. Перед тобой стоит совсем другая Анна. За это время я прожила целую жизнь. Повзрослела.

— Но мы же видимся с тобой каждый день,— воскликнула Кити.

— Да, да, я забыла. Я все чаще думаю, что мне лучше умереть.

— Ты мне об этом ничего не говорила. А как же Петер? — спросила Кити.

— Петер,— прошептала Анна, и глаза ее загорелись. Она вся преобразилась.— Петер... Наверное, надо сжаться и терпеть... перестрадать... дожидаться, когда кончится война. Шпетер, как говорят немцы. Шпетер... Потом.

Есть немецкое слово «шпетер»,
что означает «позже».

Есть прекрасное имя Петер,
И нет ничего дороже.

И я говорю тебе, Петер:

— Шпетер, шпетер, шпетер.

Устали с тобой мы от этого слова.

Часы на стене, как шаги часового.

Луна за окном, как солдатская каска,

А в окнах зашторенных черная краска.

И я говорю тебе Петер:

— Шпетер, шпетер, шпетер!

Когда же затихнут шаги часового

И время на нас заработает снова,

И каждому сердцу сердца отзовутся,

И губы в улыбке опять расплывутся.

Забудем с тобою мы, Петер,

Чужое, немецкое «шпетер»

Забудем немецкое «шпетер»

И ругань солдат «доннер веттер!».

— Анна! Но это неправда,— воскликнула Кити.— Я прекрасно знаю, что ты не хочешь ждать, ты просто не умеешь ждать. Никаких «шпетер». Я помню твои слова,— продолжала Кити и, как по написанному, произнесла:—«Сегодня утром я заметила, что Петер смотрит на меня как-то по-другому».

— Да, да, по-другому. Я не смогла тебе объяснить, как по-другому. Чувствует ли он то, что чувствую я?

Мы все поняли, что этим странным, близким и одновременно незнакомым подругам надо поговорить о чем-то очень важном, своем. И мы отступили в тень. Но все равно оказались свидетелями исповеди. Я заметил, какой интерес вызвала эта исповедь у Пьеро и Арлекина:

— «Каждое утро я выхожу дышать свежим воздухом на чердак. Остальные окна закрыты. Ставни не пропускают свет»,— произнесла Кити так, словно читала эти слова.

И Анна подхватила начатое подругой:

— «Здесь занимается Петер. И виден кусок неба и голые ветки каштана. Мы сидели с Петером на кушетке. Он все больше и больше притягивал меня к себе, пока моя голова не склонилась на его плечо...»

Анна умолкла, словно ей надо было перевести дыхание.

Тогда ее рассказ продолжила Кити — она читала мысли подруги:

— «В половине десятого я встала, подошла к окну, где мы всегда прощаемся. Я все еще дрожала, я была той, другой Анной».

— «Он подошел ко мне,— Анна исповедовалась перед своей подругой.— Он подошел ко мне, я обхватила его шею руками и поцеловала его в левую щеку. Но когда я хотела поцеловать его в правую...»

Анна замерла. Ее лицо залилось краской. Она не могла говорить, но за нее ее слова произнесла Кити:

— «Мои губы встретились с его губами. В смятении мы прижались губами еще раз и еще, без конца...»

Я посмотрел на своих спутников и сделал странное открытие: маски на их лицах стали прозрачными и я увидел два встревоженных мальчишеских лица. Брови подняты, рты полуоткрыты. Мальчики настороженно слушали разговор подруг, боясь пропустить слово. Это было не любопытство, а открытие чего-то нового, неведомого. И я догадался, что их сердца бьются учащенно, что они забыли, в каком времени находятся, какую роль играют. Маски ожили.

И тут Анна неожиданно подошла к Пьеро и долго разглядывала его, словно под этой печальной маской скрывался не чужой мальчик, а ее Петер.

— Ты слышал легенду про французскую девушку Маргариту? Она очень любила одного юношу, но видется с ним могла только когда цвел миндаль — такое было поверье. Маргарита стала молиться, и ее молитвы дошли до неба — миндаль начал цвести каждый месяц...

Анна вдруг сделала паузу и подошла к Арлекину. Может быть, он больше походил на Петера.

— Нет, ты представляешь: зима, кругом снег и вдруг — цветущее дерево миндаля. Все думают, что на ветках лежит снег, а это цветы!

Арлекин стоял не дыша, словно каждое слово относилось к нему, но Анна отошла от него и снова вернулась к Кити.

— А я бы молилась, чтобы миндаль цвел каждый день,— горячо сказала она,— чтобы он не переставал цвести!

И тут в слуховом окне все увидели заснеженную ветку каштана, и всем показалось, что это зацвел миндаль — зимой, белыми цветами.

И сразу стены убежища раздвинулись, крыша раскрылась, как переплет книги, и космические миры резко приблизились к темной маленькой мансарде. А может быть, само убежище взлетело ввысь, и там внизу, у подножья Восточной башни, бесильно метались потерявшие всякий смысл фашисты?

Анна молча прошлась по комнате и остановилась подле меня. В тусклом свете ее глаза казались больше обычного, в них мерцал отблеск снега. И в этот момент лицо ее показалось мне до странности знакомым. Я знал ее раньше, только не помню, когда и где? А она стояла передо мной и, вероятно, тоже силилась вспомнить, кто я. И вспомнила! И в первый раз обратилась ко мне:

— Здравствуй! Как ты нашел меня?

— Мне помог сухой лист каштана.

— Он похож на перо жар-птицы, оброненное на снег. Правда?

— Он и мне показался пером.

— Хорошо, что ты пришел. Ко мне сюда редко приходят люди с воли. Хотя там, за стенами дома, тоже нет воли.

Я не знал, за кого она меня принимает, но разговаривала со мной Анна на равных, как будто я был ее сверстником. И мы оба из одного общего детства.

— Может быть, воли здесь, в убежище, больше, чем там,— сказал я.— Здесь мы свободно говорим, о чем хотим, а там...

— Я тоже так думаю. Только воля здесь тяжелая. И у нее нет ни начала, ни конца.

— Придет конец, ведь война кончится.

— А куда денутся фашисты? — резко спросила Анна.— Ты рассуждаешь как ребенок, а я... я уже взрослая.

Мы как бы поменялись местами. Но неужели она не видит моих морщин, седых волос, грузной фигуры. Или в полумраке я кажусь ей мальчишкой. Но почему разговор у нас получился такой не детский?

— Ты все такой же,— прошептала она.

И в это мгновенье я узнал ее. Мне показалось, что передо мной стоит моя первая любовь. Я узнавал глаза, волосы, губы... Знакомые нотки звучали в ее огрубевшем голосе. И странное, волнующее чувство оживало, поднималось во мне. Я вспомнил свою первую любовь. Нет, нет, я никогда не забывал. Она никогда не умирала, была во мне, в тайниках моей души. И вот теперь, разбуженная чужой любовью, вышла из своего тайника.

В Театре полная смена декораций! Я вижу себя на берегу большой русской реки Мсты. Вокруг поля и перелески, и два холма, поросшие соснами. Вероятно, это старые курганы, насыпанные над братскими могилами богатырей. На одном холме одинокая сосна — ветви в стороны — напоминала крест.

Мы сидели под этой сосной так близко, что я чувствовал тепло ее плеча, а когда она поворачивалась ко мне, то прядь ее волос нежно касалась моей щеки. От волос пахло солнцем. У меня перехватывало дыхание, и я хотел подвинуться еще ближе. Но ближе было некуда... «Я обнял ее за шею руками и поцеловал в левую щеку. Но когда хотел поцеловать в правую... мои губы встретились с ее губами. В смятении мы прижались губами еще раз и еще... без конца». Откуда Анна знает об этом?! Или первая любовь только кажется неповторимой, а на самом деле похожа одна на другую? Впрочем, тогда я не знал, как называется это чувство. Какое это имело значение! Это было моим открытием. Моей тайной. И я не догадывался, что эта тайна написана у меня на лице, угадывается в моем поведении, накладывает печать на все мои поступки. Как я молился тогда, чтобы миндаль цвел каждый день! Но моя любовь уехала, ветка миндаля завяла и больше уже никогда не покрывалась цветами.

И вот теперь, рядом с Анной, мне показалось, что миндаль цветет, где-то близко сверкает река Мста, зеленеет курган с сосной, похожей на крест, запах солнца — запах волос.

И тогда я повернулся и посмотрел в зеркало. Из мутного зазеркалья на меня смотрел немолодой, усталый человек. Куда девался юный обладатель первой любви?! От него остались только глаза. Сейчас они насмешливо смотрели на меня. И я подумал: человек ни к кому не бывает таким жестоким, как к самому себе!

Я отвернулся от зеркала, чтоб не видеть этих насмешливых глаз. Анны уже не было рядом. Я увидел ее со спины. Она уходила. Трепетная и невесомая девочка шла по лунной дорожке. Ветер развеивал ее фантастический хитон, снежинки оседали в волосах. Она шла навстречу своей любви, и не было в мире такой силы, которая бы смогла остановить ее. Шла навстречу и одновременно прощалась.

Я говорю последнее «прости»
Фиалке, не успевшей расцвести.

Ведь я сама такая же фиалка.
Я будущего маленький побег,
Но нежный стебель засыпет снег,
И лепестков моих ему не жалко.

Я говорю любимому: «Прощай».
Хранить любовь свою мне обещаю.
Ведь первая любовь не умирает.
Прощай, весь мир, все божьи существа,
Прощайте, все любимые слова,
Моя свеча беззвучно догорает.

Установилась глубокая тишина. Мой Театр напряженно работал, и сквозь маски моих спутников, которые стали прозрачными как стекло, по-прежнему проступали черты удивленных, не понимающих все до конца, ребяческих лиц. Что ожидает Анну и ее друга на крохотном островке любви, окруженном врагами?

Окажется ли любовь сильнее — спасет ли красота мир?

Так думали мои друзья, так думал я.

Потом Арлекин нарушил молчание:

— У меня тоже была девочка... Мне тоже хотелось обнять ее, но я не решался. Мысленно я так много говорил с ней, а когда встречался, не мог выдать из себя ни слова... Как-то она сказала: «Поцелуй меня... Меня никто не целует...» И все кончилось.

И снова тихо. Снова спектакль ушел внутрь.

— А у меня все кончилось иначе, — признался Пьеро. — Моя девочка однажды сказала мне: «Почему ты меня не целуешь, ведь меня все целуют». Смешно, правда?

Но никто не засмеялся. Только маска Арлекина бессмысленно улыбалась.

Ничего-то они не поняли, мои мальчики, наверное, не пришло еще время понять это. Кити же загадочно улыбалась.

И тут послышался шорох и в слуховое окно влетел бумажный Журавлик — театральное «ружье» снова «выстрелило». Он совершил посадку у ног Кити:

— Я прилетел к тебе, Анна!

— Меня зовут Кити, — ответила девочка.

— Кто ты, Кити?

— Я подруга Анны Франк. Ты бумажный Журавлик, а я бу-

мажная подруга. Но иногда человек доверяет бумаге больше, чем людям. Я знаю все об Анне.

— Ты читала ее дневник?

— Я и есть дневник Анны Франк — ее бумажная подруга.

У основания Восточной башни, как у ноги великана, стоит девочка. Худенькая, вытянутая, в коротком платье. Ножки тонкие. Руки за спиной, и поэтому живот чуть-чуть выступает вперед. Типичная детская поза! Большие глаза смотрят из глубины. Верхняя губка небрежно прищепнута к нижней. Когда на улице становитсялюдно, кажется, что девочка смешивается с толпой и идет вместе со всеми. Куда?

Когда же колокола на башне вызывают мелодию Баха, девочка замирает и напряженно слушает. Может быть, даже тихо подпевает. Ля-ля, ля-ля, ля-ля. Кто знает? В это мгновение она наполняется такой легкостью, что вот-вот оторвется от земли. Плечи отведены назад, а лопатки проступают сквозь платье, как маленькие крылышки — в самый раз взлететь. Но в последнюю минуту девочка вспоминает, что она бронзовая и никакие крылья не оторвут ее от земли. И снова замирает на своем вечном бессменном посту. Это Анна Франк сегодня.

Песнь четвертая

Розовое облако лежало на влажном склоне священной горы Токо. Оно то возникало, то растворялось в дымчатых волокнах утреннего тумана. Потом неожиданно возникло желтое облако, потом — вишневое. Нет, это были не облака: на склоне горы шло бурное цветенье. Туман закрывал одни кущи и открывал другие. Сакура, дроки, слива в разрывах тумана, они сменяли друг друга, и казалось, что вся огромная гора находится в движении. Светомузыка весны.

Гора Токо встретила меня на пути к японской девочке Сасаки Садако и стала декорацией к новой картине мистерии.

В апрельский день искать опавшие листья — тщетное занятие. В блестящей от дождя траве нет следов прошлого, следов войны. Воронки от бомб давно заполнились дождевой водой и превратились в пруды, как бы сотворенные самой природой.

В обгоревших пустых лесах появились гнездовья. В мертвые города вернулись люди. Время помогает забыть горе. Горе прошлого — обезболенное горе.

Скошенные вагончики фуникулера ползут по наклонным рельсам к вершине горы Токо. Эту гору, как уважаемого человека, в Японии называют Токо о сан.

Наверное, наша маленькая героиня тоже поднималась в таком вот вагончике, а потом шла по аллее, по краям которой растут огромные священные деревья — обоо, а под ними стоят изображения Будды — только не старого и мудрого, а Будды-мальчика. Эти Будды-мальчики как бы провожали Сасаки к храму. А там, в храме, гремел гонг, ухал барабан и в полутьме горел костерик из сухих благовонных веток. Надо было подойти к нему и ладонью грести к себе сизый дым. Этот горьковатый, щиплющий глаза дым, обволакивая лицо, помогает от всех болезней. И маленькая Сасаки все загребала и загребала дым: очень хотела избавиться от своего недуга. Покраснели глаза, по щеке медленно поползла горькая слезинка. Монахи в деревянных башмаках кигуцах и черных кимоно стояли за ее спиной и бормотали молитвы. Гонг и барабан отгоняли злых духов.

Сасаки, девочка моя, я не мог жить, не коснувшись рукой твоего плеча, не посмотрев в дорогие щелочки твоих глаз. И ради этого я разыгрываю эту странную мистерию, в которой моя собственная жизнь переплетается с жизнями тех, кто дорог мне, но с кем не суждено было встретиться. Я всюду не успевал, всюду опаздывал. И вот теперь я сижу, поджав ноги, в полутемном храме, слушаю чужие молитвы, вдыхаю горьковатый дымок и ищу глазами тебя, Сасаки, а мне в затылок дышат два моих спутника — Пьеро и Арлекин.

А вместо опавшего листка, как плевок в глаза смерти, ветвь цветущей сакуры.

Но вперед!

Какое высокое небо над Хиросимой. Обезумевшие от весны ласточки исполняют фигуры высшего пилотажа. Легкий сквознячок с моря, муссон, ласковой рукой проводит по лицу.

Эй, Арлекин, будь на виду — сейчас как никогда кстати твоя улыбка. А ты, Пьеро, держись в тени, своим мрачным видом не напоминай людям о забытых страданиях войны. Войны давно нет и на нашей сцене идет совсем другой спектакль.

И вдруг наблюдательный Пьеро воскликнул:

— Смотрите, тень, а человека нет.

— Вечно тебе что-то мерещится, — недовольно буркнул Арлекин.

Мы остановились. На светлой каменной ступени действительно лежала темная тень. Не пятно, а точные очертания человека.

Это было настолько неестественно, неправдоподобно, что мы долго молчали, думали. Может быть, нам повстречалась та самая тень, которую потерял герой андерсеновской сказки? Он ищет ее уже второй век, а она оказалась здесь, в Хиросиме. А если наоборот, тень потеряла своего хозяина и терпеливо ожидает его на каменной ступени. Идет дождь, ложится снег, но тень неподвижна, не может сама отправиться на поиски своего хозяина!

— Наверное, по ночам тень воет от тоски, как брошенная собака,— мрачно сказал Пьеро, и занял место пропавшего. На какое-то время тень мальчика совпала с тенью на камне.— Он стоял здесь, грелся на солнышке.

— Он позировал фотографу,— вмешался в рассуждение приятеля Арлекин.— Видите, какой красивый дом и как пышно цветет рядом сакура. «Улыбнись! Сейчас вылетит птичка!» Вспышка блица...

— Вспышка действительно была,— сказал я,— вспышка была такой силы, что человек превратился в пар, исчез. Тень не поспела за ним. Это случилось 6 августа 1945 года.

И тут на сцене моего Театра стало медленно подниматься плотное пепельное облако с огненной начинкой. Оно росло, расширялось, выворачивалось наизнанку, в нем происходила какая-то адова работа. Вспышка ослепляла людей, а тех, кто был поближе, сжигала. По земле кругами расходились невидимые волны. Они накатывались на все краски жизни — розовые, желтые, вишневые,— а за ними оставался один только цвет — черный. Тень на камне была вечным негативом. Такой это был фотограф!

Тень лежала беззвучно. Солнце зашло за облако, тень не дрогнула.

— А ведь тот человек, погибая, заслонил собой тень,— вслух подумал Пьеро,— сам погиб, а тень осталась.

И тут я заметил цветок сакуры, занесенный ветром на каменную ступень. Я нагнулся и поднял его. Но легкого прикосновения было достаточно, чтобы лепестки облетели. И у меня на ладони оказалась маленькая звездочка, темно-красная, как капля крови.

Чья это кровинка? И словно отвечая на мой вопрос, зазвучал голос девочки. Она кому-то жаловалась:

У меня болит головка.
Может, жесткая циновка?
Намагничена кровать?
Головы не оторвать.
Я испытываю муку,
Поднимая просто руку.
Я зову — но я забыта.
Я живу — но я убита.
Я жива и не жива,
Сквозь меня растет трава...

Кто это? Мои спутники переглянулись. И в это время слышались удары колокола. Он звучал неторопливо и печально, словно жаловался на свою судьбу:

Я очень старый колокол.
Меня тащили волоком.
И падал я, как гром.
Бом! Бом! Бом!

Я — часть тревожной повести,
Я — голос вашей совести.
Стал городу гербом.
Бом! Бом! Бом!

Мы слушали звон колокола Хиросимы, и нам казалось, что это вечная тень обрела голос и зовет своего хозяина. Бом! Бом! Бом! Я посмотрел на кровинку, горящую у меня на ладони, и подумал: может, это японская девочка Сасаки Садако подает сигнал тревоги?

А может быть, колокол предупреждает людей об опасности. Так в далекие времена звонили больные проказой, чтобы никто не приближался к ним, к заразным. Бом! Бом! Бом!

Теперь людей предупреждала Хиросима.

Хиросима, Хиросима —
Поезда проходят мимо.
Корабли плывут с опаской —
Город залит черной краской.

Из семейного альбома
Смотрит атомная бомба
Человеческим лицом
Со страдальческим венцом.

Крошка-атом стал солдатом,
Каждый с крошкой-автоматом.
Каждый крошечный убийца
Вашим детям смотрит в лица.

Хиросима, Хиросима —
Эта боль невыносима.
Но сегодняшнему детству
Все досталось по наследству.

А я вел своих юных спутников по этому страшному месту, где война кончилась и продолжалась, просто смерть надела шапку-невидимку. Вел их, как когда-то Вергилий вел Данте по всем девяти кругам ада. Но мои дорогие Пьеро и Арлекин еще до конца не понимали всей сути происходящего, хотя тень без человека обескуражила их.

— Вам не страшно? — спросил я своих спутников.

— Когда на лице маска, не так страшно. Все-таки Театр, — буркнул Пьеро.

Удары колокола медленно плыли над городом, как черные птицы, на тяжелых крыльях. Колокол предупреждал людей.

И вдруг я оглянулся и вздрогнул: вместо масок на лицах моих спутников появились противогазы — уродливые резиновые маски войны, с глазницами, круглыми, как маленькие иллюминаторы. Только на безжизненной резине были грубо начертаны рот с опущенными уголками и улыбка, похожая на гримасу.

От моих спутников повеяло каким-то отчуждением.

И вот тогда в нашей мистерии появилась Сасаки Садако.

Мой Театр! Кто я в нем? Автор? Режиссер? Художник? Артист? Или все в одном лице? Автор напишет пьесу — и свободен! Режиссер поставит спектакль и уйдет за кулисы. Художник размалюет свои огромные холсты и примется за новые. Актер наденет маску и на несколько часов станет действующим лицом. Только на несколько часов!

А я? Я вечно пишу свою пьесу, вечно рисую к ней декорации, ставлю спектакль и никогда не ухожу со сцены своего театра. И не уйду до тех пор, пока со скрежетом и скрипом не опустится железный занавес... Раз и навсегда.

Но железный занавес не опущен — жизнь продолжается, в Театре идет спектакль. На сцене — Сасаки Садако, девочка, которую догнала война и приговорила к смерти. Ведь война

всегда приговаривает к смерти. Война — сама есть смерть. Сасаки вступает на сцену медленно и бесшумно. Она в белом платье. В белых носочках. В руке веточка цветущей сакуры. Колокол звучит в такт ее шагам все тише — Бом! Бом! Бом! И замирает. И Тень — вечная Тень — исчезает, так и не дождавшись своего хозяина.

— Кто вы? — спрашивает Сасаки. — Вы похожи на войну.

— Мы?! — в один голос восклицают Пьеро и Арлекин и тут только обнаруживают, что на их лицах вместо театральных масок — противогазные, резиновые маски.

— Не обращай внимания! — говорит Арлекин. — Войны давно нет. Все в порядке.

— Война есть, — отвечает девочка, — во мне всегда есть война. Она в моей крови. Радиация.

— Хочешь, мы дадим тебе нашу кровь, — предлагает Пьеро. — Сколько хочешь! Нам не жалко!

— Не поможет мне ваша кровь. Вам лучше держаться подале.

— Мы не боимся! — за двоих отвечает Арлекин.

Ах, мои милые спутники, они ничего не боятся — не научились бояться. У них нет опыта страха. Они могут бояться всяких пустяков, а серьезного не боятся. Я когда-то сам был на войне бесстрашным, но только первые дни, до первой крови.

Сасаки устало опускается на циновку и забывается. Вернее, она из одного мира переходит в другой. В этом ее другом мире все неодушевленное оживает и обретает дар речи. Маленькое изображение Будды смотрит на девочку узкими глазами и говорит:

Я поджал свои ноги из бронзы.

Я сижу пред тобой в позе бонзы.

И девочка отзывается, отвечает ему:

Ты такой добродушный и круглый,

Стань на время, пожалуйста, куклой.

Мне ведь не с кем играть — только с Буддой,

Я тебя в одеяло закутаю.

Но Будда качает бронзовой головой:

Я бы рад поиграть с тобой, деточка,

Но надломлена хрупкая веточка.

И теперь даже Будда
Не способен на чудо.

Будда умолк, снова превратился в бронзовую статуэтку.
Мистерия продолжается. Заговорила Циновка.

Я — Циновка,
Меня не приносят в хоромы,
Я с полей,
Я из рисовой нежной соломы.
И когда ты замерзнешь,
Тебя я согрею.
А когда ты пылаешь —
Прохладой повею.

Один за другим оживают предметы в доме Сасаки. И это уже не мой, это — ее Театр. В нем идет свой спектакль, а мы — зрители. Противогазы на лицах моих спутников снова стали обыкновенными театральными масками.

Вслед за Циновкой ожила подушка.

Я — Подушка.
Я твоя подружка,
Положи ты меня под ушко.
И от вороха перьев и пуха
Шорох крыл
Долетает до слуха.
Это ночью, когда тебе долго не спится.
К изголовью слетаются белые птицы.

Потом в руках Сасаки появились две палочки-хаси, похожие на барабанные, и чашечка риса.

Чашечка риса ожила, заговорила:

Я Чашечка Риса на детской ладони,
Дитя надо мною склонилось в поклоне.
Я только с огня, и не кажется странным,
Что пар надо мной, как дымок над вулканом,
Но в чашке не рис благодатный как будто,
А каждое зернышко — это минута.
И вот уже риса немного осталось:
Щепотка на донышке, самая малость.
И я в естестве невесомом

На детской ладони взлетаю над домом.
Я в небе уже. Я в заоблачной выси.
И тут уже дело, конечно, не в рисе.

Мой Театр! То, что в нем происходит, может показаться фантазией. Оживают предметы, превращаются в живые образы. И нас это удивляет. Мы слишком привыкли к молчанию природы. Но окружающий нас мир не может молчать бесконечно. Каждой травинке, каждому деревцу, каждому зернышку риса есть что сказать. Довольно царствовать, человек! Ты сам — часть природы, не больше. Нельзя дожидаться, пока Природа нас свергнет. Ведь Природа — самая добрая субстанция в мире — вдруг не выдержит — восстанет, отомстит. Только беда в том, что виноваты перед ней одни люди, а месть падает на головы других. Почему за страшную войну Природа мстит девочке, родившейся через много лет после войны? Чем она перед тобой виновата, Природа? Где справедливость?

Последнее время Сасаки стала странно приближаться к Природе. Она научилась понимать язык деревьев, рек, долин. Самые необычайные вещи открывали ей свою душу. Любой предмет, на котором она останавливала взгляд, оживал. Она понимала его язык. И все окружающее приобрело иной смысл — девочка почувствовала себя частицей Природы, такой же, как вода, ветер, хлеб. Она не уходила из жизни — рожденная Природой, она как бы возвращалась в отчий дом — к Природе.

А Пьеро и Арлекин наблюдали за происходящим с удивлением и бессилием. В них шла какая-то невидимая за масками работа. Менялись их представления — они как бы попали на новый неведомый этаж жизни. Забыв о своих личинах, они постигали сложность и красоту человеческого духа. Бог красоты был где-то близко, слышался храп его загнанных коней, а порой нежно звучали струны его кифары. По воле моих спутников он сорвался с места и, понукая коней, спешил спасти мир. Спасет ли он Сасаки?

Пьеро и Арлекин растеряны — не могут постичь происходящее. В их воображении рождаются странные образы. Они возникли не сами — перешли к ним от Сасаки. Ведь дети обладают удивительным свойством понимать друг друга, не зная языка. У них другой язык общения, близкий к Природе. Дети вообще, в отличие от взрослых, не до конца утратили свою связь с матерью-Природой.

Нам же некогда думать о Природе. Мы не научились жалеть деревья и оплакивать увядшие цветы, проходим мимо обыкновенного фикуса и не слышим, как он просит пить. Он просит молча. Он шлет сигналы твоему сердцу. А сердце глухо, не принимает сигналы.

Я спрашиваю своих спутников:

— Вы никогда не слышали, как на свою судьбу жалуются реки?

Они пожимают плечами.

А Сасаки приподнимается на локте, настораживается и слышит:

Я — Река.

Я пою вас, белье вам стираю,

А теперь умираю.

Ухожу, убываю за ярусом ярус.

Машет белым платочком

Последний мой парус.

Я — Река.

Мои струи как струны.

Утекают старинные руны.

Где ты, музыка жизни и детства?

Умирает река и не будет наследства.

Я кончаюсь,

Как тонкая струйка из крана.

И на месте реки будет черная рана.

Забинтует зима ее ласковым снегом.

О, не дай умереть мне!

О, будь человеком!

— Вы ничего не слышите? — отчаянно спрашиваю я своих спутников.

Пожимают плечами.

Бывают случаи, что в моем Театре многое приходится объяснять не только публике, но и самим артистам. Но пока не поймут артисты, не поймет публика. Я пригласил вас не только для того, чтобы хмуриться и улыбаться, мои дорогие «артисты драмкружка, освистанные школой». Я знаю, за что вас освистали — для сегодняшнего зрителя слишком мало однозначных масок, они хотят большего! Вы, конечно, можете снять свои маски, но что останется? Готовы ли вы к глубоким мыслям и сложным переживаниям?

Я пригласил вас, чтобы вы научились слушать голос хлеба, деревьев, рек.

Сасаки научилась. Слишком поздно, но научилась. Она со всей ясностью почувствовала себя частицей Природы.

Я утекаю, как река.

Я засыхаю, как цветок.

И смерть реки,

И смерть цветка —

Всего лишь вечности глоток.

Я вымерзаю, как земля.

Я выгораю, как пожар.

Я ощущаю вкус угля

И жжение пчелиных жал.

И не пойму, где хлябь, где твердь.

И в шапке-невидимке смерть.

Мой Театр в смятении! Артисты не знают ролей. Нет нужных ролей, они еще не созданы. Маски с надеждой смотрят на меня: ведь я и автор и режиссер. Но чем я могу помочь им, если Театр не допускает фальши. И если река может заговорить на сцене моего Театра, то важно не то, что река обрела голос, а то, что она говорит правду. И перед этой правдой трудно устоять.

И только одна героиня мистерии борется, ищет выхода, хотя времени у нее осталось так мало. Это — Сасаки.

Я встану с постели.

Я сяду к окну.

Я кисточку в черную тушь обмакну.

Я выведу свой иероглиф.

На что он похож?

Он похож на войну.

И я той же кисточкой перечеркну

Войны ненавистный автограф.

Хочу уничтожить тот огненный знак,

А он вырастает, как рисовый знак

На рисовой тонкой бумаге.

Его не сожжешь — он в огне не горит.

Его не разрушишь — он тверд как гранит.

Он ночью мерцает во мраке.

Он губит меня, как взрывная волна.

Он ранит меня — я смертельно больна.

Как много страдания приносит Сасаки иероглиф войны. Словно он не просто знак, нанесенный тонкой кисточкой, а оживший призрак войны, который преследует девочку днем и ночью... Днем и ночью. Но рука не выпускает кисточку.

Я ближе бумагу придвину к окну
И снова я кисточку в тушь обмакну.
И дрогнет рука от волнения.
Другой иероглиф на солнце блестит.
И кажется, это Журавлик летит,
На крыльях, несет он спасенье.
Лети, мой Журавлик, быстрее лети:
Лишь тысяча птиц меня может спасти.
Рука белых птичек считает.
Со всех уголков благодатной земли
Слетелись ко мне на постель журавли.
И лишь одного не хватает.

Сасаки опустила на циновку и закрыла глаза. Но не уснула: губы ее шевелятся, реснички вздрагивают. Она снова и снова пересчитывает окруживших ее бумажных журавликов. Их такая большая стая. Они спасут ее! Но вот одного не хватает...

Не хватает одного журавлика! А где наш журавлик «глаголы здесь чудили, задачки с рельс сходили»?

— Почему «театральное ружье» не выстрелило? — сетует Пьеро. — Почему в нужный момент он не появился в доме Сасаки?

— В Театре не все кончается благополучно. В Театре ружье может и не выстрелить в самый нужный момент, — оправдываюсь я.

— Вырвем листок из тетрадки и сделаем нового Журавлика, — тут же предложил Арлекин.

— Нет тетрадки, — мрачно отозвался Пьеро, — но он еще подоспеет... наш Журавлик.

И мои помощники от отчаяния снова почувствовали себя на сцене.

— Бессилен наш союз.

Жизнь стала трудной школой.

— Я плачу.

— Я смеюсь.

— Я грустный.

— Я веселый... Я такой веселый, что у меня по лицу текут слезы, а вместе со слезами течет грим. Может быть, я больше не Арлекин? Может быть, я превратился в Пьеро? Все перепуталось в нашем Театре.

— Мы не можем больше быть статистами! — воскликнул Пьеро.

— Мы хотим действовать. Мы должны спасти Сасаки! — поддержал его товарищ.

Мои спутники были удивительно едины:

— Нам нужны другие роли... в этой мистерии!

— Но мистерия уже написана, — робко возразил я, — других ролей нет.

— Тогда автора — на мыло!

— Но автор — жизнь!

Этот довод не подействовал на моих друзей.

— В жизни надо бороться. Только негодяи сидят сложа руки, когда человек в беде. Мы не согласны!

— Мы уходим... Увольняемся по собственному желанию, — буркнул Пьеро.

— Не имеете права нас задерживать! — отстаивал свои права Арлекин.

Такого оборота дел я не ожидал. Я зажался и молчал. Я думал: хорошо, что они не стали рабами масок! Полный разлад с масками. Театр вышел из берегов. Сквозь маски проступали лица — взволнованные, полные решимости. Артисты становились людьми, и настоящими. Надо было помочь им удержаться, не смалодушничать.

— Вы же не дезертиры, — стараясь сохранить спокойствие, сказал я. — Мы вместе изопьем эту чашу. Вместе дойдем до цели.

— До какой цели? — в голосе Пьеро чувствовалась жесткость. — Когда все погибнут и останутся одни тени?

— Тогда уходите, — все так же сдержанно сказал я. — Ваши тени останутся как укор вам. Я принимал вас за людей, а вы оказались теньями.

Никто не тронулся с места. Я чувствовал, как они борются сами с собой.

Шурша кимоно, в комнату бесшумно вошла Мама. Она села на краешек циновки и нежно провела рукой по головке дочери, как бы снимая боль. Потом заговорила:

Наступает тяжелая ночь.
Как тебе, моя радость, сможешь?
Я боюсь укачать тебя, дочка.
Вдруг уснешь, а проснуться не сможешь.

Сасаки молчала, только дыхание ее стало учащенным. Потом она открыла глаза, из последних сил приподнялась на локте.

Мама, прощай! Ухожу, улетаю,
Каплей росы я сейчас испарюсь.
Хрупкой снежинкой в ладони растаю.
Я умираю, но я повторяюсь.

Мама, прощай! Нет, не надо прощаться.
Вместе мы нашу беду переждем.
Буду к тебе я весной возвращаться.
Буду в окошко стучаться дождем.
Травкой в знакомом взойду палисаде.
Стану в апреле частицей тепла.
Выйду на улицу в белом наряде.
«Сáкура,— скажет сосед,— зацвела».

Нет, Сасаки не умирала, она возвращалась к Природе. Ее ждали реки и рощи, птицы и облака, метелочки риса и жар горы Фудзи. И, видимо, единственным человеком, кто понимал это, была Мама. Ведь она была той частью природы, которая дала жизнь Сасаки. Теперь эта жизнь уходила. Нет! Не исчезала, а принимала новую форму.

В обычном спектакле — горе и рыдания Матери вытеснят весь смысл того преображения, которое происходит с человеком, переходящим границу жизни и смерти. Но мы играем мистерию и как бы поднимаемся над жизнью, над болью, над страданиями. И слово Матери звучит как молитва. И надежда на что-то сверхъестественное побеждает безнадежность человеческого горя.

Сáкура, сáкура,
Как невеста в белом.
Кто-то веточки обвел
Аккуратно мелом.

За порог ступлю с утра.
Новый день настанет

Мне навстречу сáкура
Веточку протянет.

Каждым белым лепестком,
Каждой клейкой почкой
Почему-то сáкура
Кажется мне дочкой.

«Здравствуй, дочка-сáкура!
Ты опять вся в белом?»
«Эта стая журавлей
Мне на ветки села».

Песнь пятая

Может быть, вместо сухого листка на воображаемом занавесе моего Театра следует изобразить ветвь цветущей сáкуры? Но это прекрасное цветение не вечно — настанет время, когда вместо легких лепестков в руке остается алая капля крови. Тяжелая капля.

Однако сухой лист на снегу снова напомнил о себе. От порыва ветра он шелохнулся, зашуршал — и я очутился в школьном саду в пору листопада. На дорожках лежало множество прекрасных кленовых листьев. Их сметали и безжалостно жгли на медленных кострах, от которых, как от курильниц, шел горьковатый, щемящий сердце дымок. Мне захотелось спасти эту красоту от огня, и я стал собирать листья, которые особенно приглянулись. Их оказалась целая охапка. Я не знал, что с ними делать, но тут мне в голову пришла несусветная мысль: оклеить стены класса кленовыми листьями.

В пустом классе закипела работа. Я не просто наклеивал листья — я рисовал на холодной стене фантастическую картину: листья — желтые, зеленые, бурые, золотистые — были моими красками. Стена оживала, превращалась в осенний сад.

В этот момент я был не клейщиком обоев, но художником и так увлекся творчеством, что не заметил, как в класс вошел суровый завуч.

- Что это? — сухо спросил он.
- Это... красота, — ответил я.
- Но здесь класс!
- Разве в классе не должно быть красиво?!

— В классе должен быть порядок. Сорви! — приказал он. — Немедленно!

Я подошел к стене. Прямо передо мной один листок наполовину отклеился и трепетал на сквозняке, как крыло бабочки. Он был охровым и на его поверхности, как кровеносные сосудики, проступали алые жилки. И я подумал, если я оторву его — потечет кровь!.. Я заплакал и бросился к двери.

Где ты был в это время, Аполлон? Почему не подстегиул свою квадригу и не примчался спасать красоту? Или ты думаешь, что красота — это только театр? А может быть, ты рассуждаешь как суровый завуч: красота и порядок несовместимы?

Я вспомнил об этой прекрасной стене — стене кленовых листьев — в одноэтажной американской школе, в классе, где училась Саманта Смит. Я смотрел на стенку и мне казалось, что когда-то она вся была в кленовых листьях и что это Саманта решила на такое. И это роднило меня с ней.

Рядом со мной стояла ее Мама — Джейн. У нее были такие же глаза, как у Саманты. Не просто похожие, а такие же.

Древний театр Колизей напоминает огромный мертвый термитник. Когда-то в нем кипела жизнь. В его аркадах и ярусах, как муравьи, сновали люди. Они согревали камень — там бушевала жизнь, кипели страсти. Теперь античный театр никому не нужен, — мертвый термитник, покинутый муравьями. Полуразвалившиеся стены. Нет крыши. Впрочем, крыша от времени не пострадала, потому что крыши никогда не было — ее заменяло небо.

Я представил себе, что Колизей — мой Театр. Представил себе, как он вместе со мной взлетает в небо вместе с аркадами, переходами, галереями и ареной — этакая летающая тарелочка в миллионы тонн весом.

Но это я фантазирую. Разминка фантазии.

На самом деле мой Театр — это я сам, и никаких Колизеев!

В моем Театре нет репетиций, и третий звонок может прозвучать в любое время суток, ночью или на рассвете. Может заставить меня в постели, в пути, в полете. Может со мной отправиться в полет.

Но взлететь не так просто, даже если с тобой два таких верных помощника, как Пьеро и Арлекин. Этим помощникам самим надо помогать. И все же, когда рядом бьются два горячих сердца и полные удивления глаза доверчиво смотрят в щели маски, чувствуешь себя не так одиноко.

Самолет завелся легко и разочаровывающе просто, как обыкновенная машина: поворот ключа, рев стартера, треск — и пропеллер завертелся юлой, постепенно превращаясь в мерцающий диск. Короткий разбег — тоже автомобильный! — и наш четырехместный самолетик оторвался от земли и как бы завис над золотыми чешуйками морской зыби.

В полете ощущение скорости теряется, и, когда хозяин самолета Джой предложил мне взять в руки штурвал, я легкомысленно согласился и тут же пожалел, но отступать было поздно: в моих руках оказался маленький штурвал — судьба полета.

Так вместе со мной в небо взлетел мой Колизей, мой Театр.

Два моих спутника ровно дышали мне в затылок — для них полет был неожиданностью, да еще с таким неопытным пилотом: я впервые в жизни вел самолет. Но потом им в голову пришла спасительная мысль — ведь это Театр. А в Театре все возможно! И безопасно.

Постепенно я освоился с новым положением и смог заглянуть вниз. Океан кончался, впереди за линией прибоя следовал зеленый массив леса. Я слегка отпустил от себя штурвал — зеленые пирамидки елок стали стремительно приближаться. Стоп! Штурвал на себя — взревел двигатель, самолетик полез в гору. Мимо пронеслось небольшое рваное облачко. Я почувствовал легкость. Страх новизны обстоятельств развеялся. Теперь я уже спокойней разглядывал все, что проплывало под нами. Мне показалось, что я знаю эти места, более того, пролетал над ними. Вот засверкали на солнце веселые стеклышки теплицы, в лесной чаще возникло овальное озеро, на перекрестке дорог под крылом проплыл готический колышек церкви. Откуда я знаю эти места? Эта мысль сверлила сознание. А тем временем вокруг нас стали происходить перемены.

Стало темно. На ветровом стекле замелькало многообразие начинающегося дождя. Самолет бросало из стороны в сторону, вызывая тоску по твердому грунту. Потом, как в скоростном лифте, машина стремительно пошла вверх, а сердце упало и холодным комком ощущалось у диафрагмы. Шквал усиливался. Ветер не просто бросал нашу легкую машину, он мял ее, как комок глины, и вместе с машиной мял меня. Я отчаянно сжимал маленький штурвал, похожий на баранку детского педального автомобиля. Но разве можно было противостоять силе этого бешеного шквала!

Сперва мне показалось, что я остался в машине один. Но через некоторое время почувствовал, что кто-то дышит мне в затылок. Я на мгновение обернулся: за моей спиной сидела девочка. Я не сразу узнал Саманту: при вспышке молнии ее лицо казалось неземным, серебристым, фосфоресцирующим. Как мы очутились вдвоем в попавшем в беду самолете? Чувство тревоги переполняло меня. Теперь это был не страх за себя, а нечто более глубокое: беспокойство за девочку.

— Ты не боишься? — спросил я Саманту и не услышал собственного голоса.

— Скоро мы прилетим, — отозвалась девочка, но ее голоса я тоже не услышал, в моем представлении она должна была ответить так.

— Мы уже близко, — утешил я свою спутницу.

Этот шквал с дождем размыл все границы стихий, и разоб- рать, далеко или близко, было сложно.

— Я потерплю, хотя мне надоела эта болтанка, — донеслось до меня с заднего сидения. И я понял, что Саманта не боится. Она вообще была бесстрашной девочкой.

А может быть, и я зря беспокоюсь? Ведь это Театр, мой Те- атр, только и всего. И самолет поэтому не падает в волны и не задевает крылом сосны, растущие на холме. Это — Театр!

Но мой Театр тем и отличается от обычного, что в нем, рас- талкивая локтями помрежей, на сцену врывается жизнь со своими законами, со своей неотвратимостью. И никакой великий Станиславский ничего не может сделать: Театр живет по дру- гим законам, по моей системе, а не по системе великого рефор- матора.

Я устал от этой мучительной правды. Я не знал, где выход. Самолет то стремительно мчался, то замирал на месте. И шум двигателя заглушал рев бури.

«Саманта... Саманта... Саманта... — шептал я, — почему ты не дышишь мне в затылок?»

И вдруг знакомый голос:

— Эй, не спи! У тебя в руках штурвал самолета! Мы можем гробануться.

Я открыл глаза. Светило солнце. Макушки деревьев проплы- вали под крылом, а стволы были тоненькими, как спички.

— Что тебе, интересно, снилось?

Что мне снилось? Разве я спал?

Мне снился полет. Скрылись дали земные.
Удобное кресло. Ремни привязные.
И солнце, и облако — все под рукой.
В глазах стюардессы небесный покой.
Мне снился полет. Вдруг ударило в спину.
Мгновенно огнем охватило машину.
Сосед обезумел: хочу умереть!
А я все равно продолжаю лететь.
Мне снился полет, бесконечный и краткий.
И понял я вдруг, что не будет посадки.
Но жить все равно я безумно хочу.
И я вверх ногами, но все же лечу.
Мне снился полет, а когда я проснулся,
То благополучно на землю вернулся.
К окну подошел — меня бросило в пот:
И здесь продолжался безумный полет.

Самолет летел низко, чуть ли не касаясь крон деревьев. От ветра с залива машину слегка покачивало. Пьеро и Арлекин притихли. Не знали, как расценить мой странный сон.

— Я не согласен лететь вверх ногами, — сказал Арлекин, — хотя во сне не имеет значения, как лететь. Ведь это был сон?

— Случается, что жизнь похожа на сон, а сон похож на жизнь. В природе много странного, — философски заметил я, мне оставалось только философствовать.

— В твоём Театре тоже не так просто разобраться, — пробур- чал Пьеро. — У меня от этого сна дурное предчувствие.

— Может быть, опустим занавес и — конец мистерии, — предложил Арлекин.

Я оглянулся — на меня в упор отчужденно смотрели две маски, одна улыбалась, другая хмурилась, вот и выбирай, к че- му склониться. Я сказал им:

— Мистерия продолжается помимо нашей воли. Мы сами выбрали роли в этом спектакле.

— Но мы не уговаривались отправляться в путь с пилотом, который в первый раз держит в руках штурвал и может в лю- бую минуту полететь вверх ногами?

— Мы можем вывалиться, — испугался Пьеро.

— Там есть привязные ремни, — бросил через плечо мой сосед, хозяин самолета Джой, и принял из моих рук штурвал. — Идем на посадку.

Маски успокоились.

И снова перемена декораций и... настроения. Где-то близко зазвучала веселая песенка про эти места, она как бы выкристаллизовалась из общего настроения. В моем Театре и такое возможно.

Над крышами Манчестера,
Над солнечным бугром,
Как будто из винчестера
Палит весенний гром.

Все зелено от озими.
Туман в траву прилег
И парус поднял в озере
Свой белый уголок.

Веселая скакалочка,
Как радуга, взлетай.
Веселая считалочка,
Кому водить, считай!

Самолет коснулся земли и побежал вразвалочку по не очень ровной полосе маленького аэродрома. И мы выпрыгнули прямо в траву.

А теперь — так развивается действие — представьте себе девочку, бегущую по утреннему лужку. Высокая трава, как собака, трется о ее ногу. Каштановые, пахнущие солнцем волосы разметались от бега, спадают на лицо, и девочка встряхивает головой, чтобы отбросить их назад. Большие глаза наполнены небом, длинные реснички вздрагивают, как веточки. От частого дыхания рот полуоткрыт, два верхних зубика чуть крупнее остальных. Веснушки как след солнца. Майка с пеликаном на груди. На коленках ссадины едва зажили, покрылись корочкой, как сургучом... Она постоянно в движении, в игре. И с ее губ срывается считалочка:

А у нас в штате Мэн
Жил веселый джентльмен:
Он ужасно любил крокодилов
И на ферме своей разводил их.
А ему крокодил
Как-то раз не угодил:
Он построил хозяину рожу
И хозяин содрал с него кожу.

— Тебе водить! — воскликнула Саманта и ткнула пальцем в грудь Пьеро.

— А я и не играл, — растерянно сказал Пьеро.

— Ты с неба свалился?

— Не сваливался я... приземлился.

— Ладно! — Саманта махнула рукой. — Только не хмурься. А то от выражения твоего лица, как от зеленого яблока, во рту становится кисло.

— Это не я... это маска такая, — оправдывался Пьеро, но Саманта уже не слушала его. Она подошла к Арлекину и спросила:

— Ты знаешь петушиное слово? Не знаешь. А известно ли тебе, как поет английский петух?

— Петух со знанием английского языка? Скажешь тоже!

— Разве петухи во всем мире поют не одинаково? — спросил Пьеро.

— В том-то и дело, что по-разному. Наш петух поет по-английски: кок-э-дудл... кок-э-дудл!..

Пьеро и Арлекин переглянулись и вслед за Самантой повторили: Кок-э-дудл! Кок-э-дудл!

— А французский петух поет иначе: ко-ко-рику... ко-ко-рику!..

И два друга тут же изобразили пение французского петуха:

— Ко-ко-рику! Ко-ко-рику!

— А шведский петух, — продолжала девочка, — поет по-шведски: у-ке-ли-ку... у-ке-ли-ку!..

Арлекин и Пьеро произнесли шведское петушиное слово:

— У-ке-ли-ку! У-ке-ли-ку!

— А как поет русский петух, вы, конечно, знаете?

И тут же все трое запели: ку-ка-ре-ку! И им отозвалось эхо. И весь мир заполнился петушиным пением, словно на земле жили одни петухи и каждый пел на своем языке. И долго еще не умолкал разноязыкий петушиный оркестр. Но вот он затих. Настроение изменилось. На голове у Саманты появился венок из кувшинок.

— Сейчас мы разыграем спектакль. Я буду Офелией. А вы будете... Вы так и останетесь — Пьеро и Арлекин. Согласны?

— Офелия, Офелия, сестричка! — воскликнул Арлекин.

И тут вступила Саманта:

Надет венок, распущена косичка.

На сцене омут, словно на картинке.

Вода синее, плавают кувшинки.

— Офелия, Офелия, сестричка,— воскликнул Пьеро.
— Офелия, Офелия, девчонка! — продолжил Арлекин.
И снова Саманта:

Прощай любовь, родимая сторонка.
Но в темном зале замер мой спаситель —
В джинсовой куртке неприметный зритель.
Офелия, Офелия, девчонка!

— Офелия, Офелия, подруга!
На свете нету преданнее друга,
И мне не даст он утонуть в пучине.
Он вынесет меня в цветах и в тине.
— Офелия, Офелия, подруга!

— Офелия, Офелия, русалка!
Вдруг целой школе станет тебя жалко.
И мой спаситель вдруг сорвется с места.
Чтоб ждать меня у школьного подъезда.
— Офелия, Офелия, русалка.

Как в мире все взаимосвязано! Время и пространство, которые на первый взгляд кажутся далекими и несовместимыми, вдруг сходятся лицом к лицу. Люди, жившие в разные времена, становятся друзьями. Родственные души находят друг друга в разных уголках света.

Мой Театр — место таких встреч. Люди разных эпох могут встретиться только здесь. Назначайте свидания в моем Театре!

Так случилось, что на ступеньках Самантиного дома встретились все героини моей мистерии.

Саманта сидела на крыльце, когда перед домом появилась девочка в платке и ватнике. Больше всего Саманту удивило, что у незнакомки была странная обувь, похожая на ноги слона. У девочки было бледное изможденное лицо и запавшие глаза, полные тоски.

Девочка произнесла странную фразу:

— А куропатка съедает в день всего 22 грамма!
— Ты что, наблюдаешь за куропатками? — поинтересовалась Саманта.
— Я завидую куропаткам. 22 грамма им хватает. А мне сто грамм хлеба мало.
— Я дам тебе сколько хочешь хлеба! — воскликнула Саманта.

Неожиданную гостью она приняла за бродяжку.

— Спасибо. Теперь уже не надо. Блокаду прорвали. Война кончилась,— ответила девочка.

«Так вот она какая, война!» — подумала Саманта, и тихо сказала:

— Прости меня, ты, наверное, очень устала. Посиди на крыльчке. Меня зовут Саманта.

— А я Таня,— ответила незнакомка и села на ступеньку, согретую солнышком.

Потом появилась еще одна гостья в голубом хитоне, сшитом из маминой нижней юбки. Ее появление тоже озадачило Саманту. Большие темные глаза, верхняя губка небрежно прищепнута к нижней.

— Ты, наверное, актриса? — спросила Саманта.

— Да, конечно... Конечно, я — актриса. Я ужасно счастлива, а играю роль несчастной. Тебе нравится мое платье? Правда, вместо пуант у меня спортивные туфли. Хочешь, я прочту тебе монолог из моего спектакля?

Саманта продолжала разглядывать гостью-актрису, а Таня грелась на солнышке и все не могла согреться.

Я говорю последнее «прости»
Фиалке, не успевшей расцвести,
Ведь я сама такая же фиалка.
Я будущего маленький побег,
Но нежный стебель засыпает снег,
И лепестков моих ему не жалко...

Стало удивительно тихо. Саманта задумалась, исподволь разглядывая гостей, и вдруг воскликнула:

— Девочки, вы обе с войны. Я знаю вас! Я читала ваши дневники. Вас прислало небо?

— Если человеческую память считать небом, то небо,— рассудительно ответила Анна.

И тут все заметили, что перед крыльчком появилась еще одна незнакомка, худенькая, в шелковом кимоно. У нее были гладкие черные волосы и щелочки-глаза, чуть припухшие снизу.

У меня болит головка —
Очень жесткая циновка.
Я испытываю муку,

Поднимая просто руку.
Я жива и не жива —
Сквозь меня растет трава.

— Ты тоже была на войне?

— Нет,— ответила Сасаки,— война вселилась в меня. Война всегда со мной. Со мной... до самой смерти. Как хорошо, что у меня нет дочки и в нее не вселится моя война, как в меня мамина.

— Что же это за страшная война, которая передается по наследству! — воскликнула Саманта.

Девочки печально посмотрели на Саманту и молча ушли. Но Саманта почувствовала, что она не одна, что кто-то, чужой и опасный, находится где-то рядом. И зазвучал железный голос:

Я притаилась в mine ржавой,
Меня ребенок в руки взял —
И потянулся след кровавый,
И проявился мой оскал.

Я мертвой только притворилась,
И пусть Чернобыль вдалеке,
Но Хиросима повторилась
На мирной Припяти-реке.

Голос умолк, как железный лязг промчавшегося танка. И Саманта почувствовала войну так реально, словно та уже поднималась по нагретым солнцем ступеням крыльца и готова была ударом сапога выбить дверь и вломиться в дом.

«Из семейного альбома смотрит атомная бомба с человеческим лицом, со страдальческим венцом».

Девочка осталась с глазу на глаз с войной.

И тогда Саманта со всей силой почувствовала, что наступил момент, когда она может остановить войну. Она одна во всем мире. Вчера было рано, завтра будет поздно. Сегодня! И никто другой, только она. Она! Она!

Когда в обыкновенном театре по ходу пьесы наступает ночь, осветители убирают свет, а рабочие сцены по команде помрежа поднимают на блоках желтую картонную луну. В моем Театре все иначе. И ночь настоящая, и луна не картонная. И девочка самая натуральная...

Луну, как мяч, качают реки.
Огромный шумный мир затих.
Мечтают маленькие Бекки
О Томах Сойерах своих.

Потом уснут на полдороге
С любимой книжкой в руке
В давно забывшем про тревоги
Американском городке.

Чего же ты не спишь, Саманта,
Не улыбаешься во сне?..

В длинной ночной рубашке до земли она сидела на стуле, поджав ноги, а перед ней лежал листок из школьной тетради.

Саманта оглянулась — за ее спиной стояли Пьеро и Арлекин. Только на них были не обычные театральные маски, а противогазы, и на резине кто-то намалевал рожи — веселую и грустную.

И вдруг девочка увидела себя на сцене Театра. Она стояла на самом краю сцены, а дальше вместо оркестровой ямы была бездна, провал. А за ямой-бездной — зрительный зал, полный людей, и все они, эти люди, были в противогазах, и на каждой резиновой маске было нарисовано лицо. Это были не лица, а насмешки над лицами — гримасы. Казалось, каждый прятал свое подлинное лицо от войны.

Такие это были страшные прятки!..

Все это множество людей, сидящих в зрительном зале, смотрели на Саманту сквозь круглые маленькие иллюминаторы своих масок. И девочка казалась им прекрасной уже потому, что была без маски. Каштановые, пахнущие солнцем волосы разметались от бега и спадали на лицо, и она встряхивала головой, чтобы отбросить их назад. Большие глаза наполнены небом, длинные реснички вздрагивали, как веточки... Она была так прекрасна, что люди поверили: красота спасет мир... Саманта спасет мир... Спаси нас, Саманта, мы уже стали масками, а ты не потеряла лицо, на тебя вся надежда! Иди к нам, дитя мира!

Саманта уже хотела сделать шаг, занесла ногу над бездной... и попятилась, но не испугалась, а просто поняла бессмысленность шага в бездну.

И тогда сцена пропала, маски слились в туманное облако. Саманта снова очутилась дома, в своей комнате. На столе лежал листок бумаги, вырванный из тетради.

Что делать? Молиться? Молить? Требовать?

Рука с трудом выводит буквы,
В конце строки, как крюк, вопрос.
Я узнаю твой почерк круглый,
Его знакомый перекося.

Не знаю, страх или отвага,
Что движет детскою рукой.
Как может выдержать бумага —
Не вспыхнуть под такой строкой.

И слышит девочка сирену
И видит близко тень крыла.
Огонь и рухнувшую стену
И звон разбитого стекла.

Все небо — ядерное пекло.
Одно мгновение — малый срок —
И превратился в груды пепла
Американский городок.

Пьеро и Арлекин, как два ангела-хранителя, стояли за спиной Саманты и широко раскрытыми глазами следили за движением ее руки.

Кричит ночная птица тонко,
И морем пахнет от травы.
Американская девчонка
Защиты ищет у Москвы.

Она надеется при этом,
Что там, в Москве, ее поймут.
Придет ответ, и с тем ответом
Надежды сразу оживут.

И вместо ядерного страха
Жизнь станет легче и ясней.
Ночная длинная рубаха
Коленки закрывает ей.

Дети не бывают пророками. Но порой в ребенке скрыта такая великая сила предчувствия, какой не обладает ни один взрослый. Это сила проявляется неожиданно, и ребенок сам до конца не понимает, насколько важно для людей может быть его слово.

Вчера было рано, завтра будет поздно. Сегодня! И только она. Саманта.

Люди, посмотрите в окно. От пробуждающейся природы воздух кажется зеленым. Веточка тополя с острой почкой напоминает куриную ножку с золотым коготком. А березы белые в полосочку, как завернуты в газету. Под этой «газетой» уже бродит весенний березовый сок. Поют птицы. Облака заполнены не снегом, но дождем. Откройте окно, впустите в свой дом запах земли, запах жизни. Солнце дробится в больших лужах на множество зайчиков... Жизнь продолжается. И может быть, этим наша земля сегодня обязана Саманте.

Той ночью Саманта все же была пророком. Но утром она снова стала обыкновенной девочкой.

Ее фантазия моментом
Легко меняет все кругом:
Том Сойер станет президентом
И с Бекки вступит в Белый дом.

Похожий на гигантский термитник римский театр Колизей был жестоким театром. Артисты этого театра, гладиаторы, выходили на сцену не с бутафорскими мечами. И никаких условностей! Сражались даже не до первой крови, а до гибели одного из соперников.

Испанцы одного из действующих лиц в кровавом театре заменили быком — появилась коррида. В ней тоже один из соперников должен был пасть на арене, как на поле боя. Как правило, погибал бык.

Но у действующих лиц жестокого театра прошлого был шанс.

Один из актеров — гладиатор — оставался лежать бездыханным трупом, но другой, не упустив своего шанса, возвращался с триумфом, под гром аплодисментов.

И в корриде даже у быка есть шанс. И хотя его соперник — человек — существо более хитрое, более опытное, подлое, случалось, что простодушный бык оказывался победителем и с радостным мычанием убегал в хлев, оставив на песке мертвого тореадора.

Даже у быка есть шанс!

В моем Театре ни у кого нет шанса и если кто-то должен погибнуть, он погибает. Вот каким жестоким оказался мой Театр.

В Портленде бушевала буря. На море — шторм. Огромные волны обрушивались на берег. Якорные цепи скрипели от напряжения. Аэродром закрыла плотная завеса дождя. Самолет на земле вздрагивал от порывов ветра.

— Пусть она не летит,— предложил Пьеро.— Пусть дождется утра.

— Пусть этот идиот-диспетчер не дает взлета,— поддержал товарища Арлекин.— Он же имеет право. А летчик — самоубийца, что ли?

Но как отменить полет Саманты, если он был.

Не Театр жесток, жизнь жестока.

— Нам придется уйти из твоего Театра! — заявили мои помощники.— Мы больше не можем.

— Вы же знаете, что из моего театра не уйдешь. Театр движется за вами со всеми своими бурями и страстями. В моем Театре занавес не опускается, когда угодно господам артистам! Впрочем, в любом театре не артисты командуют парадом. Надо страдать, надо терпеть...

Пассажиры уже на местах. Лететь-то всего ничего — полчасика. Как-нибудь дотянем. Зато через час — дома! Близость дома пьянит и отвлекает от опасности. Кажется, в небе над родным домом ничего не может случиться. «Леди энд джентльмены, пристегните ремни!» О'кей! От порывов ветра маленький самолет трясет как в лихорадке, но он уже бежит по взлетной полосе. Вот он оторвался от земли и, очертя голову, нырнул в месиво дождя и ветра. И его сразу стало кидать, кидать. Ничего, ничего, летчик опытный, с закрытыми глазами долетит до Агусты.

Спектакль продолжается. А смерть уже стоит за кулисами, ожидая своего выхода на сцену. На ней — противогазная маска. Забыла она, что войны нет.

А моих спутников, Пьеро и Арлекина, уже подхватила волна событий, и они ничего не могли поделать — были в страшной власти происходящего. Напрасно сквозь гул ветра звучал их призыв:

Остановите самолет
Хотя бы на мгновение,

Чтоб только кончился полет
За миг до столкновенья.
Остановите все сердца
Хотя бы на мгновение,
Чтоб только не было конца,
Чтоб было продолженье.

Они держались из последних сил, все еще надеясь на новый поворот событий, все еще веря в неограниченные возможности моего Театра.

А самолет был уже так близко к родному дому. Высокие сосны, блеск озерной глади и огонек в окне родного дома. И полные тревоги глаза матери.

Самолет теряет высоту,
Самолет несется в пустоту.
А в конце ревущей пустоты —
Камень, почва, мокрые кусты.
Летчик снова делает маневр,
Как с миноискателем минер.
Если ошибется он сейчас —
Ошибется он в последний раз.
Смотрят люди из иллюминаторов —
В лицах безнадежность гладиаторов.

Что происходило в последние минуты на борту самолета, не знает никто. Но мой Театр отрывается от земли и в эту проклятую нелетную погоду устремляется ввысь. Впрочем, для Театра не существует нелетной погоды — все погоды летные, все дни рабочие. И в нашей мистерии оживает последний разговор отца с дочерью.

— Что сейчас мне делать с девочкой моей?
Я боюсь не смерти, а разлуки с ней.
— Папа, все утихнет... Папа, все пройдет.
Ветер прекратится... Солнышко взойдет.

— Здесь иллюминатор — огненный экран.
Если б оказался под рукой стоп-кран!

— Где-то свет в окошке. Мокрая трава...
— Девочка, родная, ты еще жива...

— Обожженный ветер дышит горячо.
Хорошо, что рядом папино плечо.

— Я готов погибнуть, не об этом речь.
Мне тебя бы, дочка, только уберечь.
В небе страшный грохот, словно гром колес.
Так, наверно, поезд мчится под откос.
— Папа, мой любимый, ты со мной побудь.
Мы перестрадаем вместе эту жуть...

И может быть, в последние мгновенья — театральное ружье выстрелило — появился бумажный Журавлик. «Глаголы здесь чудили, задачки с рельс сходили». Может, бился бумажным крылом в стекло иллюминатора.

Земля перед небом бессильная,
Напрасно друзей не зови.
Возьми мое сердце, Саманта,
Но только не гибни, живи.
Машина срывается в бездну.
Уже никого не спасти.
Возьми мои крылья, Саманта,
Но только не падай, лети.. лети... лети...

— Стойте! Остановите действие! Опустите занавес! — крикнул в отчаянии Пьеро, и уголки губ на его маске опустились еще ниже.— Мы думали, что нам в руки попала обычная школьная тетрадка, где задачки «с рельс сходили». Задачки, а не поезда! А в этой тетради все задачи неразрешимые. И на всю тетрадку всего один глагол: умер! Умер! Умерла, умерло. С одним этим глаголом невозможно жить.

— Подожди! — Арлекин положил руку на плечо Пьеро.— Мы же в театре. А в театре с древних времен существует «дэус экс махина» — бог в машине. И когда в трагедиях кто-то погибал, а публика не хотела, сверху на скрипучих блоках опускался «дэус экс махина» и вопреки всем законам драматургии выручал любимого героя. И публика ревела от счастья. Где «дэус экс махина»? Может быть, в театральном механизме что-то разладилось и «бог» не может вовремя прийти на помощь?

— Мы объявляем забастовку, — мрачно сказал Пьеро.— Мы уходим со сцены!

Каких только восстаний не знала история. Рабы, гладиато-

ры, ангелы — восставали. Теперь в моем Театре восстали маски Пьеро и Арлекин.

Восстание масок! Мой театр рушится. Падают и разбиваются колонны. Горят декорации. С грохотом, подгоняя коней, умчался от греха подальше бог красоты. Как горный обвал, опускается железный занавес, чтобы обезопасить зрителей. Театр гибнет — зрители остаются.

Мой театр разоряют не варвары, а два простых мальчишки. Они обвинили Театр в несправедливости, в жестокости. Они никак не могли согласиться с тем, что в моем Театре не моя фантазия — на его сцене оживает уже состоявшаяся правда. Так было, и с этим ничего нельзя поделать.

Не учли мои юные спутники, что задним числом нельзя поделиться с Таней хлебом, нельзя увести Анну в новое убежище, нельзя вылечить Сасаки теми средствами, какими лечат детей Чернобыля, нельзя перенести рейс самолета, на котором в штормовую ночь полетела Саманта. И еще множество «нельзя». Ушло время.

Ушло и осталось. Осталось в моем Театре. И те зрители, которым достался лишний билетик, снова и снова встречаются с Самантой и слышат ее голос. Откуда он доносится? Может быть, из вечности...

Какое зеленое небо,
Как будто растет там трава.
Коровы по небу гуляют
Беспечно, спустя рукава.
Такое медовое небо,
Что, кажется, пахнет медком
И хочется мне дотянуться
И небо лизнуть языком.
Такое прозрачное небо,
Как стеклышко, солнце блестит.
И это не облако вовсе,
А мыльная пена летит.
Внизу остается мой домик.
А я, устремясь в высоту,
По небу бегу на уроки
И в небе играю в лапту.

У вступающих в жизнь всегда большой запас времени. У них впереди возможность сыграть прекрасную, благородную роль

в своем Театре. Еще придется делиться хлебом, придется отдавать кровь, прятать от врагов хороших людей. Потому что кроме прошедшего времени есть настоящее и есть будущее время. Вы еще можете сыграть много прекрасных ролей, можете выбрать роль по душе, по убеждениям. Это мне уже не выбрать другой роли:

Но старость — это Рим, который
Взамен турусов и колес
Не читки требует с актера,
А полной гибели всерьез.

Эти строки не из Библии — это стихи Пастернака, но и в них библейский накал истины.

Мои спутники верно послужили мне, но настал момент, когда они сорвали маски, и шагнули со сцены в жизнь, и затерялись среди тысяч себе подобных. Их теперь не отличишь. Да они и в самом деле такие же, как все, только стали крепче духом, прошли школу моего трудного Театра. У них еще нет своего Театра, но со временем обязательно будет.

Я остался на сцене один. У меня в руке сухой опавший листок — память о живых зеленых листьях. О них должны знать все. И пока я жив, в моем Театре будет подниматься занавес.

Я приглашаю вас в Театр! Есть лишний билетик? Миллион лишний билетиков! Для каждого желающего найдется место в моем Театре. И когда спектакль кончится, мой Театр двинется за вами со всеми героями и декорациями — потому, что Театр вселится в вас.

Как трудно оставаться наедине со своим Театром! Но я чувствую: кто-то дышит мне в затылок. Я поворачиваюсь и вижу — это Пьеро и Арлекин. Кто на этот раз скрывается за масками?



УЧИТЕЛЬ

Говорят, наступает время, когда Учитель становится не нужен. Он научил, чему мог научить, и — поезд отправился дальше, а Учитель остался один на пустой платформе. И если высунуться из окна, то долго еще будешь видеть маленькую, одинокую фигурку человека, провожающего поезд. Потом поезд превратится в точку, замрет железный стук колес, а он все будет стоять. И ему мучительно захочется остановить поезд, вернуть его, ведь с этим поездом навсегда уходит частица его самого, самая дорогая частица. А потом, когда вопреки его желанию поезд скроется и как бы растворится в тумане, сольется с полями и рощами, Учитель оглянется и с удивлением увидит, что платформа полна ребят. Они нетерпеливо переступают с ноги на ногу, дышат в затылок друг другу, толкают соседей — ждут своей очереди. И в их глазах написано: «Поторопись, Учитель, мы ждем тебя! Ты наш, и мы тебя ни с кем не желаем делить. Идем же, Учитель!»

И тогда Учитель сразу забудет об ушедшем поезде и о пустой платформе. Да никакой платформы и не было. Черная доска, как инеем, покрыта пылью мела. На окнах цветы при-
мулы. На стене портрет академика Павлова...

У нашего Учителя были розовые уши, словно он только что пришел с мороза. Даже летом он тер их попеременно ладонью. Глаза у него подвижные, живые — два синих кружочка. На уроке они превращались в два маленьких экрана. В глазах Учителя извергались вулканы, сползали ледники и обрушивались дожди... из лягушек.

Я хорошо помню, как Учитель вошел в класс, энергично потер ладонью розовое ухо и с порога объявил:

— Вчера в Новой Каледонии выпал дождь из лягушек.

Класс подпрыгнул и громко рассмеялся.

— Лягушкам было не до смеха, — совершенно серьезно сказал Учитель. — Сильный ураган оторвал их от родного болота и со страшной скоростью понес над океаном. Беспомощно расставив перепончатые лапки, лягушки летели, как птицы. И, вероятно, жалобно квакали. Не думаю, чтобы им нравилось лететь. Потом ветер неожиданно ослаб, и лягушки вместе с потоками дождя стали падать на землю.

Мы посмотрели в глаза Учителю, и увидели себя с раскрытыми зонтиками, и почувствовали, как лягушки упруго плюхались на купола зонтиков. Девочки даже взвизгнули.

Однажды Учитель подошел ко мне, положил на плечо руку и сказал:

— У каждого из нас есть вечный двигатель. У тебя, например.

Ребята удивленно переглянулись, а я уставился в два синих экрана, ища в них ответа. Глаза Учителя загадочно светились.

— У меня нет... вечного двигателя, — сказал я.

— Есть.

Я задумался. Я перебирал в памяти все, что было у меня «движущего», — самокат, велосипед, ролики, самолетик с резинкой вместо моторчика. Ничего не двигалось само по себе и тем более вечно.

— Он всегда при тебе. Он и сейчас с тобой! — Учитель как бы играл со мной в «жарко-холодно».

Я пошарил в карманах, заглянул в портфель, но ничего похожего на вечный двигатель не обнаружил.

— Твой вечный двигатель у тебя в груди, — не сводя с меня глаз, сказал Учитель. — Это — твое сердце. Оно бьется день и ночь, зимой и летом. Без отдыха, без перерыва... вечно.

Я невольно приложил руку к груди и почувствовал слабые, мерные толчки своего сердца. В классе стало тихо, все ребята слушали, как работает их вечный двигатель.

Так Учитель постепенно открывал нам неведомый мир, и после его открытий жизнь становилась удивительной, почти сказочной. Обычные вещи он умел повернуть такой неожиданной гранью, что они сразу менялись и обретали новое значение. Но главная его наука ждала меня впереди.

Однажды в кино у меня произошла странная встреча. Я слонялся по людному фойе в ожидании начала сеанса и вдруг увидел нашу вожатую Аллу — высокую, светловолосую,

в каплевидных очках. Рядом с ней сидел рослый десятиклассник. Они ели мороженое в вафельных стаканчиках и о чем-то оживленно разговаривали. Сперва я подумал, что обознался, но, когда не поленился и еще раз прошел мимо, сомнения мои развеялись — это были они. Я даже покраснел от возбуждения. Когда все толпой входили в зал, я потерял их из виду. Но потом обнаружил, что они сидят неподалеку от меня. Вместо экрана я смотрел на них. Я увидел, как десятиклассник положил руку на спинку стула, на котором сидела Алла. Но тут свет погас, и мне пришлось прервать мои наблюдения.

На другой день, пораньше прибежав в класс, я с нескрываемым удовольствием принялся рассказывать ребятам о своем открытии. Я рассказал про мороженое в вафельных стаканчиках и про спинку стула. И мы все очень веселились. Как вдруг я услышал покашливание и оглянулся — в дверях стоял Учитель. Он молча поманил меня пальцем, и мы вместе вышли в коридор.

— Сейчас ты вернешься в класс, — сказал Учитель, глядя куда-то мимо меня, — и скажешь, что никого не встречал в кино и что все это с мороженым и спинкой стула ты придумал.

— Но ведь я видел их!

— Да, ты видел их, но никому не должен был говорить об этом. Стыдно.

— Разве стыдно говорить правду? — спросил я и с вызовом посмотрел на Учителя.

— Эта правда не принадлежит тебе. Если люди выплеснут всю «правду», какую они знают о других, они захлебнутся. Не всякую правду человек должен знать о другом.

И тут я решил подловить Учителя. Я сказал:

— Значит, лучше соврать!

— Лучше смолчать, — сказал Учитель. — Ты знаешь, что такое чужая тайна? Это тоже правда. Но она принадлежит не всем. В данном случае она не принадлежит тебе. Ты разгласил чужую тайну — все равно что взял чужое. Подло!

Теперь я растерянно смотрел на Учителя и не знал, как ему возразить. А он сказал:

— Иди. И скажи, что ты все это придумал!

— Соврать? — резко спросил я.

— Ты сам пришел к этому. Значит, соврать... во имя правды.

Я уныло поплелся в класс и упавшим голосом объявил, что все это вранье, что никакую Аллу я не встречал, а десятиклассника вообще взял с потолка.

— Трепло! — сказал кто-то. Я проглотил насмешку.

Однажды меня ударил один верзила из старшего класса. Но это было полбеда. Он ударил меня на глазах девочки, которой мне очень хотелось понравиться. Я жестоко страдал. И тогда Учитель подошел ко мне, положил руку на плечо и сказал:

— Ты должен побить его.

— Как побить? — Я вспыхнул от неожиданности.

— Очень просто. Как бьют.

— Но он сильнее меня, — пробормотал я.

— Сильнее тот, кто прав. Кто прав, всегда побеждает, даже если ему при этом достанется... Учти, женщины не любят битых.

После разговора с Учителем я долго не мог решиться. Но однажды превозмог себя и, борясь со страхом, поднялся на этаж, где учился мой обидчик. Я подстерег его у двери и, когда он вразвалочку вышел из класса, очертя голову бросился на него. Я даже сбил его с ног. И пока он, ошеломленный внезапным нападением, еще не успел прийти в себя, я гордо удалился за стены крепости — в свой класс.

Я ничего не сказал девочке, которой хотел понравиться, но она все поняла по моему победоносному взгляду и еще по тому, как у меня от волнения дрожали коленки.

На другой день меня вызвала завуч, которую мы звали Катаклизма.

— Что это за новости? — воскликнула она, едва я переступил порог кабинета, — Кто научил тебя драться?

— Учитель! — с готовностью ответил я.

— Учитель? — От неожиданности завуч даже поднялась со стула. — Ты понимаешь, что говоришь?

— Понимаю, — сказал я и в ту же секунду понял, что не должен был этого говорить.

— То есть не Учитель... а я... сам. Я решил... — Я бормотал что-то несвязное, но было уже поздно.

— А врать тебя тоже научил Учитель? — Катаклизма атаковала меня. Своими жесткими вопросами она загнала меня в угол.

— Да!.. То есть нет...

Я окончательно запутался. И чтобы спасти положение, шагнул вперед и чуть ли не закричал:

— Я сам побил его, потому что он первый побил меня. И я побил его потому, что женщины не любят битых.

— Что-о-о? — Лицо у Катаклизмы вытянулось и пошло пятнами. — Какие женщины?!

Глаза у Катаклизмы стали выпуклыми, и она прошла мимо меня таким решительным солдатским шагом, что паркет заскрипел, как морозный снег.

Прости меня, Учитель! Я предал тебя, но не потому, что сердце у меня черное, просто ты не успел научить меня взвешивать каждое слово. А может быть, умышленно не сделал этого, чтобы сохранить во мне непосредственность — самое прекрасное, что есть в человеке.

Но Катаклизме не удалось остановить вечный двигатель — сердце моего Учителя. Поезд мчится вперед. И когда бы я ни открыл вагонное окно и, жмурясь от встречного ветра, ни оглянулся назад, — я вижу пустую платформу и маленькую, одинокую фигурку человека, который вложил в меня частицу своего сердца. Он жив! Он задумчиво смотрит мне вслед, словно хочет убедиться, что я мчусь в верном направлении, и, может быть, он до сих пор видит во мне мальчика?.. Гремят колеса, ветер гудит в ушах. И я вижу, как по платформе бегут дети — наступая на пятки друг другу, они спешат к Учителю.

Мокрый желтый листок березы припечатал свою ладошку к стеклу.

Первое сентября.



Есть на свете дома, в которые приходят без приглашения.

Приходят, как говорится,

на огонек, — когда грустно и одиноко.

Творчество писателя — такой дом. Мой дом —

мои книги, а мои герои — люди,

ради которых читатель переступает порог моего дома.

Я буду очень рад, если ты, мой читатель, на этот раз застал в моем доме своих старых добрых знакомых — рыцаря Васю, мальчика с кошками, некрасивую Ленку, которая играет в красавицу и мужественного друга собак Косту.

Ты даже встретишь в моем доме

друга своего раннего детства медвежонка Умку.

Может быть, не все обитатели моего дома оказались твоими знакомыми, возможно, что с некоторыми из них ты познакомился впервые.

Надеюсь, они станут твоими друзьями.

В книге, названной «Избранное», принято помещать произведения,

уже известные читателю. Но в этой книге

я поместил совсем новое произведение

«Страсти по четырем девочкам. Мистерия».

Это своеобразное произведение.

Оно написано и в прозе, и в стихах.

Буду рад, если юные героини, мужественные девочки Таня Савичева, Анна Франк, Сасаки Садако и Саманта Смит станут твоими друзьями.

Мои книги не только мой дом, но и моя душа.

Все, что я пережил, перестрадал сам, —

все это оставило след в моем творчестве.

И пусть тебя не удивит,

что и эта книга в какой-то степени

обо мне самом.

Я незримо присутствую в каждом рассказе,

в мыслях и чувствах моих героев —

мои мысли и чувства. Они сокровенные,

но я открыл их тебе.

Может быть, они помогут тебе в жизни.

И на прощанье мне хочется сказать тебе:

вспоминай мой дом,

моих друзей,

а когда тебе станет грустно,

постучи в мою дверь.

СОДЕРЖАНИЕ

I

Мальчик с коньками	5
Последний фейерверк	30
Трудная коррида	41
Бамбус	80
Тяжелая кровь	90
Гонение на рыжих	103
Ляля Пуля	148
Вечеринка	173
Автопортрет	185
Сердце земли	204

II

Страсти по четырем девочкам. Мистерия	216
---	-----

III

А Воробьев стекло не выбивал	281
Собирающий облака	287
Багульник	294
Игра в красавицу	302
Рыцарь Вася	308
Он убил мою собаку	314
Реликвия	319
Где стояла батарея	324
Учитель истории	327
В гостях у собаки	333
Умка	341
Учитель	346
К читателю	351